


МИХАИЛ ЭПШТЕЙН



КЛЕЙКЦЕ ЛИСТОЧКИ

КЛЕЙКЦЕ ЛИСТОЧКИ

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН

ArsisBooks ®

Москва
2014

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН



КЛЕЙКЦЕ ЛИСТОЧКИ

мысли враздрос и вопреки

УДК 882-31
ББК 84(2Рос-Рус)6
Э73

Рисунки
Али Розенман

Эпштейн М. Н.

Клейкие листочки. Мысли вразброс и вопреки. Сборник
эссе/ – Эпштейн Михаил – М.: ООО ArsisBooks, 2014. – 204 с.
ISBN 978-5-904155-44-5

Эта книга – собрание мыслей о Главном: о жизни и смерти, о любви и творчестве, о технике и природе, о мышлении и языке. Каждая запись – это вызов расхожим мнениям и предрассудкам. Это проникновение в таинственные хитросплетения жизни, которая противится любой логике, кроме логики чуда и парадокса. Книга написана в том же жанре, что «Мысли» Б. Паскаля и «Опавшие листья» В. Розанова. В книге 144 записи – примерно столько же, сколько небудничных дней в году. По листочку в день – на год вдумчивого чтения и постепенного освобождения из-под власти унылых стереотипов.

© Эпштейн М., 2014

© Розенман А., 2014

© Издание ArsisBooks, 2014

© Дизайн-макет ООО "ArsisBooks", 2014

Об этой книге

Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки...

Ф. М. Достоевский

Это собрание кратких наблюдений и размышлений о главном: о жизни и смерти, о Боге и человеке, о любви и творчестве, о природе и языке... Каждая запись умещается на одном листочке, и вместе они складываются в книгу "небудничных" мыслей, интеллектуальных авантур и провокаций. Небудничных дней — выходных, праздничных, отпускных — в календаре примерно 140, отсюда и число записей: по листочку в день — на год чтения. Как говорил Венедикт Ерофеев, все на свете должно происходить медленно и неправильно. Пусть так же читается и эта книга.

Классика этого жанра — "Опавшие листья" Василия Розанова. Но мне ближе иной образ: клейкие весенние листочки, свежеслипкие наощупь, — как зародыши мыслей, еще не распустившихся ни в какой большой "листаж", открытых будущему... А еще есть клейкие листочки, предназначенные для кратких записей, для быстрой передачи мыслей, — маленькие квадратики, которые приклеивают к столу или к монитору. Я предлагаю читателям "клейкие листочки" в обоих смыслах.

Листочек — жанр, средний между афоризмом и эссе: это разросшийся афоризм или сжатое эссе. Конечно, и листочки бывают разные: мелкие — березовые, крупные —

кленовые, средние — дубовые, липовые, вязовые. В словесной рощице, куда приглашается читатель, перед ним предстанут разные формы и размеры листочков.

Почему листочки расположены в алфавитном, а не в логико-тематическом порядке? Хотелось бы, чтобы каждый листочек жил своей жизнью, своим неповторимым узором — а не подпирал какой-то порядок, навязанный ему извне уже сложившимся авторским мировоззрением.

Предисловие. О превратностях бытия

*Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.*

Р.- М. Рильке

«Созерцание» (пер. Б. Пастернака)

*... Экзаменатора вперед угадать нельзя.
Сегодня ты к одному экзаменатору приспособился,
а завтра этот экзаменатор сам в экзаменуемые попал.
Вот какова сей жизни превратность.*

М. Е. Салтыков-Щедрин

«Пошехонские рассказы»

У жизни есть склонность к самоиронии. Когда все, вроде бы, складывается благополучно, вдруг возникает чувство провисания, пустоты. И наоборот, в неудаче и от-
верженности вдруг ощущаешь прилив жизненных сил. Как будто в природу бытия заложено упрямое, своенравное "вопреки".

Античный философ Тит Лукреций Кар называл эти отклонения первоначал от прямых траекторий "клинаменами" и выводил из таких мелких непорядков весь миропорядок, основанный на разрастании хаоса, на пересечении и столкновении множества кривых. Почему мир так причудлив и непредсказуем?

... Легкое служит тому первичных начал отклоненье,
И не в положенный срок, и на месте, дотоль неизвестном.

“О природе вещей”, II

Мы на собственном опыте знаем силу этих отклонений. То, что приближает нас к цели, одновременно отдаляет от нее. Выводы противоречат посылкам. Добившись исполнения желаний, мы убеждаемся, что лучше им было бы не исполняться. Революции приводят не к свободе, а к еще большему закреплению. Фауст строит город на отвоеванной у моря суше — чтобы Мефистофель мог тем вернее его потопить.

Эти "вопреки" и "наоборот" неотделимы от сущности бытия и отражаются в разных сферах его познания. В науке говорят о парадоксах квантовой механики и теории множеств. В философии рассматриваются апории, например, об Ахиллесе, который никогда не догонит черепаху. В теории динамических систем изучаются "странные аттракторы", когда малые возмущения приводят к большим последствиям, — и бабочка, махнувшая крыльями в одной части света, вызывает ураганы в другой. В теологии говорят о чудесах, нарушающих законы природы. В лингвистике выделяют оксюмороны — сочетания слов с противоположными значениями, типа "светлая грусть" или "пышное увяданье". Эта лукавая природа бытия выразилась и в половицах: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". "За что боролись, на то и напоролись". Известна "подлость" жизненных ситуаций, когда бутерброд падает маслом вниз. Человек часто поступает вопреки своей выгоде и находит удовольствие в страдании...

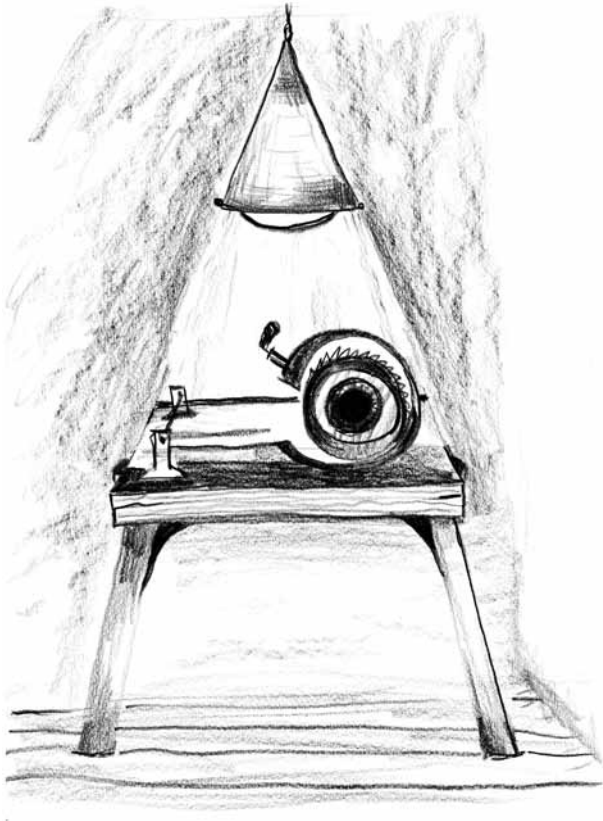
Можно было бы долго перечислять все "нелинейные" признаки нашего существования, все эти узелки и занозы, которые и составляют таинственную и мучительную прелесть жизни. Именно это неизвестное, "X", которое само себя перечеркивает, ставит на себе крест, мы прежде всего

и пытаемся постичь, но оно так и остается непостижимым, дразнит, играет с нами в прятки. Это лукаво-вкрадчивый гений жизни, то гибельный, то спасительный,— причем спасение таится там же, где и опасность, во внезапных зигзагах судьбы. Сам по себе этот гений не добр и не зол, но именно он подстрекает доброе обернуться злым, а злое — добрым.

Эта книга — о таких неуловимых сущностях, благодаря которым жизнь превращается в небезопасное приключение, а мысль — в удивление, подчас радостное, а порой граничащее с растерянностью или испугом. Это книга парадоксальных мыслей, расположенных в алфавитном порядке, но по сути анти-азбучных, опрокидывающих привычный порядок вещей. Каждая запись — приглашение читателя к диалогу, а иногда — гипербола и провокация с целью вызвать несогласие и побудить к самостоятельным размышлениям "вопреки".

* * *

Я глубоко благодарен Марианне Таймановой (Даремский университет) за ее щедрую, неоценимую помощь в работе над этой книгой.



Алмазное правило

Существует *золотое* правило этики: "как ты хочешь, чтобы обращались с тобой, так и ты поступай с другими"; "не делай другому того, чего не хочешь себе". Но мы — существа настолько индивидуальные, что нам недостаточно ставить себя на место других. Необходим другой нравственный критерий — *алмазное* правило, поскольку оно должно подчёркивать именно сверкающую, как алмаз, многогранную индивидуальность, неповторимость человеческого дара. Поступай так, чтобы твои наибольшие способности служили наибольшим потребностям других.

Марина Цветаева говорила: "Я не паразит, потому что я работаю и ничего другого не хочу, кроме как работать: но — *свою* работу, не чужую. Заставлять меня работать чужую работу бессмысленно, ибо ни на какую кроме своей и черной (таскать тяжести, прочее) неспособна". А вот переводить чужие стихи она не хотела, предпочитая менее квалифицированную работу, но "*свою*".

Дар индивидуален, но вместе с тем ситуативен, это способность делать нечто уникальное здесь и сейчас, чего не может сделать никто другой на моем месте. Безнравственно требовать от поэта или скрипача, чтобы он занялся чем-то более полезным, например, рубкой дров. Пусть каждый занимается тем, что у него лучше всего получается. Но если в результате войны мужское население истреблено и некому снабжать теплом детей и женщин, тогда поэт или скрипач должны взять топоры, чтобы рубить дрова.

Алмазное правило регулирует соотношение между наибольшими способностями одних и наибольшими по-

требностями других. Причём, чем *больше* потенциальных объектов и чем *меньше* потенциальных субъектов этического действия, тем более оно является этическим. Математическим выражением такого соотношения будет пропорция, в числителе которой — объекты нравственного действия, а в знаменателе — субъекты. Чем больше числитель (потенциально — все человечество и даже все множество живых существ) и чем меньше знаменатель (единичный субъект), тем выше нравственный потенциал действия.

Два вопроса очерчивают критерий нравственности:

1. Хотел бы ты сам стать *объектом* своих действий?
2. Может ли кто-то другой стать *субъектом* твоих действий?

Следовательно:

Поступай так, чтобы ты сам желал стать объектом данного действия, но никто другой не мог стать его субъектом.





Безошибочное мышление?

Можно ли создать искусственный интеллект, то есть научить машину/программу мыслить? Для этого нужно прежде всего, чтобы она научилась совершать ошибки — и упорствовать в них, логически оправдывать, находить им обоснование. Если прививать машине только навык правильного мышления, то мыслить она так и не научится, потому что мыслить — значит разрушать установленный порядок и создавать новый из хаоса. Мышление — это энергия заблуждения, которая создает иную точку опоры — и переворачивает мир.

Кроме того, чтобы машина приобрела сознание, ей нужно обзавестись подсознанием, — запасом подавленных или забытых влечений и ассоциаций, которые вдруг врываются в сознание и сотрясают все его налаженные механизмы, опрокидывают устойчивые идеи, предрассудки здравого смысла. Ошибка создателей искусственного интеллекта именно в том, что они стремятся создать безошибочное мышление.

Белые пороки

Г. К. Честертон писал: "Современный мир полон старых христианских добродетелей, сошедших с ума". Так можно сказать почти о любом пороке: добродетель, сошедшая с ума. Например, зависть — тяжкий порок, поскольку желает отнять у других то, чем они нас превосходят. Но у этой разрушительной зависти есть светлый двойник, "белая зависть": не отнять у другого, а прибавить себе, и не за чужой счет, а благодаря собственным усилиям. В основе такой зависти лежит добродетель: стремление стать лучше, умнее, сильнее, пытаясь дотянуться до других.

В таком же смысле можно говорить и про "белую жадность". Черная жадность — это желание присвоить себе как можно больше, нажиться за счет других. Белая — это жадность к новым людям, местам, впечатлениям, поездкам, книгам, знаниям, приключениям, к жизни как таковой. В этом смысле жаден и тот, кто стремится к сокровищам небесным, и одна из вершин христианской аскезы — "стяжание Святого Духа". Таков белый цвет стяжательства.

Лень — явный порок, но бывает и белая лень, которая побуждает нас уклоняться от лишних хлопот, от суеты, недостойной высокого духа. Белая лень, или "благоленность", может проявляться в бесцельном созерцании, которое открывает красоту мира, и в "праздном" мышлении, которое восходит к бесконечному, вечносущему. Возникает вопрос: по-черному или по-белому был ленив Илья Ильич Обломов? Лень, разумно выпестованная, может спасти от участия во множестве вредных и постыдных дел. Если бы

Ленин и в самом деле был ленив, сколько блага его лень принесла бы стране и миру!

Страх, боязливость, трусость — несомненные пороки. Но есть и белая трусость, вызванная страхом Божиим, боязнью смерти, загробных кар и адских мук. Страшно попасть в руки Бога живого. Этот белый страх оберегает верующих от многих грехов.

Наверное, бывает и белый, праведный гнев, который обрушивается на самое отвратительное и низкое в человеческой природе. Например, Иисус, взявший бич, чтобы изгнать торговцев из храма, вряд ли пребывал в кротком состоянии духа.

У динамики духа есть разные формы. Возможен духовный *переворот*, "метанойя", когда скупец раздает все свое имущество или сладострастник уходит в монастырь. Или, напротив, постник и аскет вдруг пускается во все тяжкие, будто в его душе рухнула какая-то преграда. Но есть и менее эффектная динамика *переносов*. Жадность, например, можно обратить на нечто более существенное, чем деньги и товары: жадно вникать в мир знаний или заносить в путевой дневник все детали увиденного. Человеку трудно дается добродетель, противоположная его натуре. Легче возвращать добродетель из зернышек своего же порока.

Библиотека и кладбище

Не задерживайся в библиотеке. Найди нужные книги и поскорее уходи. Не броди по ней бесцельно, как бы вбирая все пространство знания. Очень скоро ты почувствуешь не просто запах пыли, оседающей в легких, но и нарастающий приступ тоски, которую можно назвать *библиомеланхолией*. Ты попал на кладбище слов и мыслей, а оно еще печальнее, чем обычные кладбища.

Люди знают, что они смертны, и готовятся к своему концу. Некоторых утешает то, что лучшая их часть, заветные мысли и чувства, итоги многолетних трудов и изысканий переживут их и останутся в памяти потомков... И вот она, эта память,— хранилище книг, почти не востребуемых, нераскрытых, непрочитанных. Проходя мимо этих длинных рядов, уставленных разноцветными корешками, чувствуешь себя словно в колумбарии, где так же в ряд выстроились разноцветные урны с именами усопших. Чувство даже более тяжелое: там погребена смертная оболочка людей, а здесь выставлен прах того, что они считали залогом своего бессмертия. Это второе кладбище, куда попадают немногие удостоенные, но зато и запах тления сильнее, ведь смердит само "бессмертие".

Проходя по этим траурным рядам, испытываешь двойную скорбь: вины и обреченности. Да, есть твоя личная вина в том, что ты не раскрыл этих книг, не воскресил их сочинителей чтением и пониманием,— а ведь они в это верили, ради этого жили. На это чувство неискупленной вины накладывается другое, не менее печальное. Что останется от тебя самого, кроме еще нескольких переплетов, втиснутых

в плотные ряды? Ты, еще живой, скорбишь над мертвецами, а сам только тем и занимаешься, что готовишься пополнить их строй. Кажется, что покоиться прахом в земле или пеплом в колумбарии не так обидно, как стать еще одной непрочитанной книгой. Та смерть — неминуемая, уготованная всем живым. А эта — результат особо изощренной попытки избежать тления, и оттого вдвойне оскорбительная.



Благодарность учит летать

После одного не слишком удачного перелета я стал бояться воздушных путешествий. Каждое из них превратилось в тяжелое испытание, к которому я долго и мучительно готовился. Больше всего я боялся самого состояния страха и молился об избавлении от него. И вот однажды, уже во время взлета, я почувствовал вдруг подаренную мне легкость... И одновременно — благодарность за нее. Я стал опасаться, что легкость уйдет так же быстро, как и пришла, но сама благодарность усиливала во мне это состояние легкости.

И вдруг я понял, что благодарности заслуживает не только то, что полет проходит спокойно, но и то, что я дышу, вижу, существую, ведь все это не зависит от меня, а мне дано. С самого рождения я пребываю в полете — и что меня держит? Какая сила вознесла над землей? Меня самого, как такового, по сути нет. Всё мне даровано: и свет, и воздух, и тело, и каждая клеточка в нем. Ведь не я все это сотворил. Если вычесть из меня данное мне, что останется? Ничего. Меня у себя нет.

Почувствовать все свое бытие как именно дар — и значит благо-дарить. Раз мне это дано, значит, есть Некто дающий. Мое существование приобретает двойной смысл, как встреча с Дающим. Благодарность, как соль, придает крепость и вкус любому опыту.

Самолет стало потряхивать, что раньше вызывало во мне оцепенение: я представлял, с какой высоты мы будем падать. Сердце начинало вслушиваться в каждый перебой самолетного гула. Но на этот раз благодарящее чувство

примирило меня и с этой болтанкой. При каждом толчке я мысленно повторял: "и за это благодарю!" Я почувствовал, что не только каждый мой волос, но и каждый миг моей жизни находится в чьих-то руках и продлевается чьим-то щедрым усилием.

Благодарность преодолевает страх. Он достигает максимума, когда ощущаешь себя властелином всего сущего, — и боишься потерять то, чем владеешь. Чем больше гордости, уверенности в себе, тем сильнее внутренний страх. Если же всё твоё — не твоё, то нет и страха: терять нечего, ибо всё и так тебе дается.

У Юза Алешковского есть замечательное определение: "Счастье — это состояние бессознательной благодарности Всевышнему абсолютно за всё". Благодарность — философский камень, превращающий даже мерзости жизни в частицы счастья. Если с тобой случается что-то тяжелое, тревожное, опасное, начни благодарить — и тут же ощутишь радость и прилив сил!

Раньше я чувствовал на себе огромную тяжесть: все зависело от меня, все приходилось делать самому, чудовищными усилиями, как каторжнику, вращать колесо своего существования. Верно сказано: "иго мое есть благо, и бремя мое легко". Достаточно благодарно принять на себя иго — и жизнь становится легкой.

Больше и меньше, чем жизнь

В английском языке есть выражение "larger than life" — "больше, чем жизнь". Так говорят, например, о китайском императоре Цинь Шихуане (259–210 гг. до н.э.), объединителе, по сути, создателе китайского государства. В часе езды от Сианя — его гробница, которую охраняют тысячи терракотовых воинов. Сам мавзолей закрыт для посещения, поскольку там воспроизведено в миниатюре все мироздание, причем реки и озера сделаны из ртути. Предполагали император, что хранилище его останков само станет смертельно опасным — или именно этого он и добивался: сделать свою смерть убийственной для других?

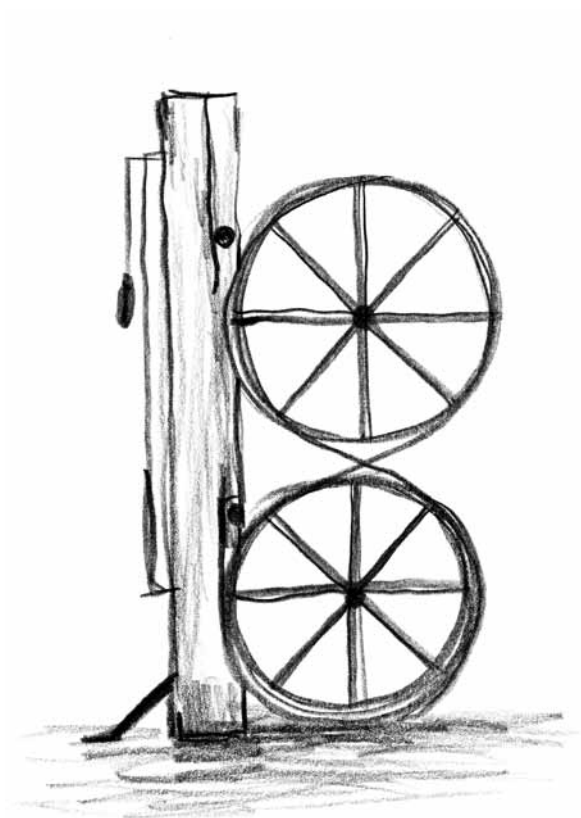
Усыпальницу начали возводить, как только Цинь Шихуан взошел на трон. Едва утвердив себя в земном царстве, он задумался о своем небесном пристанище. И всю жизнь был занят только тем, что покорял пространство. Строил Китай и строил мавзолей, прокладывая себе путь в бессмертие. Он создал жанр "жизни, которая больше, чем жизнь", который впоследствии освоил Мао Цзэдун.

Но можно быть изобретательным и "наоборот". Франц Кафка создал жанр, который можно назвать "меньше, чем жизнь". Возвел в литературно-творческий канон житие человека-насекомого. Даже лучшие свои произведения, при жизни *не* опубликованные, он завещал *не* сохранять для потомства. И то, что они все-таки уцелели благодаря *не* послушанию его душеприказчика, стало монументом этой *не*-свершенной жизни, которая сама себя боится, укорачивает себя, устает от каждого шага, уклоняется от решительных

действий — и при том наполнена изнутри невероятной силой самосознания.

Чей пример заразительнее, Цинь Шихуана или Франца Кафки? Абсолютный максимум и абсолютный минимум сходны в том, что они абсолютны.





В начале будет слово

Где сейчас Александр Пушкин? Где Лев Толстой? Где Осип Мандельштам? Догадываемся ли мы, в каких пространствах они обитают? Конечно, никому не дано постичь посмертную участь души, кроме Творца. Но поскольку мы душой сроднены с ними и живем после них, должны же какие-то слабые отзвуки их нынешних странствий доноситься до нас сквозь загробную вату? Что сейчас делает Мандельштам, кому и какие пути расчищает его слово? Ведь не может остаться без посмертных последствий то движение души, которым написано вот это — в его последнем стихотворении:

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком...

Я смутно чувствую ту духовную работу, которую и сейчас в невидимых мирах совершают строки Пушкина, Толстого, Мандельштама, создавая то, что где-то там, в их посмертии, предстает лицом, или деревом, или городом, или целой страной, планетой, вселенной. В том, что оставили по себе эти творцы, чувствуется предпосылка иного бытия, настолько логически и эстетически безупречная, что она не может не осуществиться в одном из возможных миров, в начале которых будет их Слово.

Вдвоем

Любовь — это столь долгое занятие, что одной жизни для нее мало. Любовь — это готовность провести вдвоем вечность.

Вдохновенная пошлость

Я преклоняюсь перед идеей эстетического и морального совершенства, перед завещанной древними греками "калокагатией", гармонией доброго и прекрасного. Однако у Фридриха Шлегеля есть выражение "гармонические пошляки", над которым стоит задуматься. Ну что можно возразить на требование быть одновременно и изящным, и добрым, и человечным, и возвышенным, и правдивым, и чутким? Ни-че-го! Остается только понуриться, осознавая свое несовершенство. Вот почему верхом пошлости мне представляется чеховская фраза: "В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли". Ну конечно, мы за все хорошее и против всего плохого. Сам Чехов не случайно отпасовал эту глубокую мысль Астрову (в "Дяде Ване"), который перед тем, как ее обронить, по привычке опрокидывает рюмку водки. Кстати, и Горькому хватило такта вложить "Человек — это звучит гордо" в уста пьяного босяка Сатина: "сегодня я пьян, мне все нравится ... рисует пальцем в воздухе фигуру человека". Удивительно не то, что пьяные персонажи произносят высокопарные пошлости, а то, что их с воодушевлением повторяла вся страна, — как будто сама опьянела от размаха своего революционного (воинствующего!) гуманизма. Слова вознеслись со "дна" (ночлежки и бутылки) до вершин мысли прогрессивного человечества.

Должно ли нас удивлять соседство вдохновения и пошлости? Бывает ли пошлость вдохновенной? Примеры можно найти в поэзии революционной эпохи, даже у Маяковского и Есенина, не говоря уж о глашатаях и краснобаях,

типа Троцкого и Луначарского ("железный обруч насилия и произвола", "в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление"). Самые возвышенные слова, самая надрывная патетика часто несут в себе пошлость (если только силой иронии не вырвать их из высокого контекста). Пошлость — это претензия на "сверх", это преувеличение всего хорошего: красоты, ума, добра, величия. Это эстетство, морализм, сентиментальность, политиканство-месианство; это "лебедь горделиво выгибает свою изящную шею" или "клянемся свергнуть гнет кровавого деспотизма". Но и вдохновение — тоже "сверх", состояние чрезвычайности, когда слова и мысли выходят из-под контроля разума, когда опьяняешься высоким и прекрасным: тут один шаг от "in vino veritas" до "очей синих и бездонных". Вот почему вдохновение не меньше чревато пошлостью, чем смиренный здравый смысл. Бывает пошлость плоская — и величественная; пресная — и пьяная. Демьян Бедный впадал в пошлость — ну а Есенин разве нет?

Недаром в классической эстетике было принято противопоставлять вкус и гений, чувство меры и волю к безмерности. Безвкусное вдохновение чаще всего и отдает пошлостью.

Вежливость

Речевой этикет состоит в том, чтобы избежать повелительного наклонения и заменять его сослагательным. Вместо "принесите воды!" — "не могли бы вы принести воды?" или "не были бы вы так любезны, чтобы принести воды?" Это может показаться пустой формальностью, но форма в данном случае глубоко содержательна. Вежливые люди не обременяют других своими нуждами, а деликатно предоставляют друг другу возможность их исполнять. Мне хотелось бы, чтобы вы сделали то-то и то-то, но я не понуждаю вас к этому, я предполагаю за вами возможность сделать это по собственной воле. Наша потребность высказывается другому человеку как одна из возможностей, которую он волен осуществить или не осуществить. Потребности одних людей претворяются в возможности других — такова *алхимия вежливости*. Этикет — это раскрепощающий приоритет возможности над необходимостью в отношениях между людьми. Можно было бы возразить, что высшие этические соображения не должны иметь ничего общего с правилами вежливости, и если неловко в форме императива требовать стакан воды, то ничуть не зазорно требовать от людей проливать моря крови во имя всеобщих принципов свободы, равенства, справедливости и т.д. Сомнительно, однако, чтобы высшая этика утверждалась опровержением элементарного этикета, а не его углублением. Если первичная нравственная интуиция состоит в том, чтобы облечь свою необходимость в форму возможности для другого, то смысл этики тем самым определяется как дальнейшее расширение сферы воз-

можно. Вежливость еще только формальна, поскольку она прикрывает свой собственный интерес приглашающим жестом — "не могли бы Вы?" Переход к высшей этике не уничтожает правил вежливости, а устраняет их формальность. Возможность, которую мы предоставляем другим, перестает быть средством осуществления наших потребностей и становится целью — раскрытием возможностей другого: духовных, творческих, профессиональных, эмоциональных. И если я способствую их раскрытию, значит, формальная вежливость между нами переросла в подлинно содержательные этические отношения.

Великанчик и лилипутище

Кто больше: великанчик или лилипутище? Это похоже на вопрос о том, кто кого "сборет": лексика грамматику или наоборот. Понятно, что великан больше лилипута, а человежище больше человечка. Но в какой степени больше? Что сильнее: корень или суффикс, если их значения противоположны?

Вечность времени

Сверхзадача не в том, чтобы жить *вечно*, а в том, чтобы *жить* вечно, чтобы само смертное обессмертилось. Чтобы время стало вечным, не теряя своей временности. Вот так, как я сейчас живу, и тоскую, и ленюсь, и презираю себя, и радуюсь пустякам, и отчаиваюсь от собственной бездарности, и боюсь умереть,— вот так, в этом смертном состоянии слабого существа, которое копошится в песочке времени, пытаюсь слепить из него что-то нерушимое, я и хотел бы жить вечно. Чтобы вечное давалось не как заведомая гарантия, а рождалось из непрерывности и нескончаемости моей временности, всех этих больших надежд и малых дел. Не иметь вечного заранее, а непрерывно его получать, как нескудеющую милость, как продление еще на один вершок, на год, на столетие... Я хочу вечности не как права, а как милости, потому что только милость, незаслуженная и невынужденная, сохранит для меня все обаяние и доподлинность времени, в которое яброшен.

Вещи вещи

Вещь — это урок смирения, согласия с миром. "Вещи кротки. Сами по себе они никогда не делают зла. Они сестры духов... Душа моя была непреклонна перед людьми, и, однако, я часто плакал, созерцая вещи...", — писал французский поэт Франсис Жамм ("Вещи", 1889). Ощутите этот крошечный рай, в котором каждая вещь послушествует своему владельцу. Она не отклонит ничьей просьбы, но при этом останется верна своему назначению: чашка никому не откажет в питье, но не позволит использовать себя в качестве ножа или полотенца. У вещей человек может учиться искусству сочетать служение тем, кто нуждается в нем, с верностью своему назначению. Если от вещей — сильнейший соблазн стяжания, то от них же — и урок бескорыстия. Вещи, как святые, оделяют нас всем, что у них есть, и ничего не оставляют себе, буквально выполняя завет "раздай имение свое". Отдаваясь нам во владение, учат нас не владеть. Растение тише и послушнее животного, а вещь тише и послушнее растения. Чувство покоя и замирания, которое мы переживаем в лесу или в поле, должно быть еще глубже среди собрания вещей.

Одни люди прилепляются к ним всем сердцем за их вещественность, другие отвергают и обличают ее, как вещизм. Но, может быть, вещьность — это покорность бытию, которое вещи умеют претерпевать глубже, чем люди? Было бы достойнее для человека не обогащаться вещами (гедонизм), но и не отказываться от них (аскетизм), а быть с вещами, разделять их безмолвие, бесстрашие, бескорыстие.

Их можно любить не за богатство, которое они приносят, а за бедность, в которой они пребывают.

Мера себя мерой вещей, не имеющих ничего, кроме бытия, человек достигает смирения. "Человек — мера всех вещей..." — сказал Протагор. Но верно и то, что вещь — мера всего человеческого... Бог, говорит Р.- М. Рильке, "Вещь вещей", "Безграничное присутствие". Монах, по словам Рильке, "слишком ничтожен и все-таки недостаточно мал", чтобы уподобиться вещи перед Богом. Мир вещей — погруженный в молчание и терпение монастырь, куда люди приходят странниками, обретая мудрость послушания. У каждой вещи — особое служение, и жизнь каждой вещи — непрерывная служба. Мы учимся у тех, кто служит нам. Тогда-то вещь и являет свое затаенное свойство — безгласного Слова, неумоимо наставляющего нас.

Вкус Вселенной

Джордж Стейнер, американский критик и мыслитель, так противопоставил искусство науке: "Только искусство способно хоть в какой-то мере сделать доступной и пригодной для коммуникации начисто лишённую человечности чуждость материи".

Он не совсем прав: наука тоже способна очеловечивать мир материи, преодолевать его чуждость. Согласно новейшим астрономическим данным, Sagittarius B2, огромное газопылевое облако в центре нашей галактики, содержит *этилформиат* — химическое соединение, определяющее вкус малины, а также, по странному совпадению, запах рома. Астрономы искали в нашей галактике аминокислоты, "семена жизни", но попытка пока не увенчалась успехом. Однако побочным результатом неудавшегося эксперимента оказалось открытие, благодаря которому чуждая вселенная очеловечилась, приобрела вкус и запах, причем романтический и пьянящий. Теперь, чтобы совершить путешествие в центр галактики и хотя бы чуть-чуть прикоснуться к неведомому, достаточно откупорить бутылку рома и бросить в бокал несколько ягод малины.

Возрасты

Взросление — это не столько переход из одного возраста в другой, сколько накопление в себе всех предыдущих возрастов. Человеку уже за 60 — но в нем остаются и его 14 лет, и 25, и 38: не только как память о прошлом, но и как расширяющийся круг его насущных желаний и интересов. Так ведь и в дереве сохраняются все старые — и нарастают новые годовые кольца. Если же прежние возрасты утрачены и остается только последний, — это как дерево с полым стволом, прогнившее изнутри.

Есть такие многовозрастные личности, что даже не совсем ясно, кто перед тобой. Пятидесятилетние волосы, тронутые сединой; сияющие восемнадцатилетние глаза; десятилетняя улыбка с ямочками на щеках; а слова бурлят в наивно-мудром диапазоне от десяти до семидесяти... Или так: пожатию руки — двадцать лет, выражению глаз — шестьдесят, улыбке — пятнадцать, словам — тридцать. Дело не во внешности, а в той гулкости, резонансности, которая ощущается в душевном устройстве. Про такого человека нельзя сказать, что он *вневозрастный*, как хвойное дерево внесезонно: "зимой и летом — одним цветом". Это скорее *всевозрастный* человек, в котором все возрасты звучат по-разному, каждый в своей тональности, как клавиши хорошо настроенного инструмента. Иногда эти возрасты перебивают друг друга, захлебываются от полноты самовыражения, и на детскую улыбку вдруг наползает усталость в глазах.

В общественных или служебных отношениях человек может быть равным своему текущему возрасту — но лю-

бовь обнаруживает в нем то детское, отроческое, иновозрастное, что среда или он сам в себе вытесняют. По сути, любовь есть особый дар раскрывать в человеке многообразие его возрастов. В пожилом вдруг открывается ребенок, и тогда испытываешь к нему двойную нежность; а в молодом проглядывает его предстоящая старость, по отношению к которой усиливается чувство пожизненной предназначенности. У любящих — целая палитра межвозрастных отношений. Так можно переосмыслить пушкинское "любви все возрасты покорны": не люди разных возрастов, но разные возрасты в одном человеке.



Воля к власти

Архив немецких классиков в Веймаре. Записная книжка Ф. Ницше за 1886 г.

На предпоследней странице:

соль

сахар

яйца

На последней странице:

Will zur Macht

(Воля к власти)

Выбор

Человечество перед выбором: равенство небытия или
неравенство бытия?



Выверт

Для русской культуры характерен некий обманнный жест, когда обстоятельства смеются над человеком, когда все задуманное им обращается против него: эффект наступания на грабли. Русская история богата такими вывертами, самый яркий из которых — Великая Октябрьская революция, а один из последних — августовский путч 1991 г. Выверт — это не просто переворот, когда противоположности меняются местами. Если бы такой переворот и в самом деле произошел в 1917 г., не было бы ни т.н. диктатуры пролетариата, ни коллективизации, ни партократии, ни ленинско-сталинского режима. Произошел вовсе не переворот, а *выверт*, который содержал в себе издевку и насмешку над самим смыслом переворота. Низы, ставшие якобы верхами, оказались еще более нищими и бесправными, а верхи, ставшие низами, вообще были выдавлены за пределы страны, в инобытие или небытие.

Когда, например, Лопахин становится хозяином "вишневого сада", в котором его предки были крепостными, — это простой, "нормальный" переворот. Но легко представить, что стало с Лопахинными после 1917 г., как их грабили и убивали. Если же им посчастливилось уцелеть под личиной справных мужиков, потомков крепостных, то что стало с ними после 1929 года, уже под ярлыком "кулацкого элемента", когда продолжала раскручиваться машина "переворота". Как замечает по поводу чеховских героев писатель Владимир Шаров, "им в те годы казалось, что это не шар, который катиться будет, катиться и катиться, — а просто кубик: перевернется он с одной грани на другую и станет,

будто вкопанный". Русская модель — именно шар, который вращается. Отсюда и понятие выкрутаса, от которого неотделима так называемая русская крутизна и раскручивание ("крутой парень", "раскрутить дело"). Да, крутая страна, но то, что крутится в одну сторону, легко раскручивается и в другую.





Герой и гений

Отчего эти два понятия, знаменующие предел человеческих способностей и достижений, неодинаково высоко отзываются в нас? С кем вам больше хотелось бы встретиться: с героем или с гением? Какая встреча сулит больше открытий и удивлений? Опроса не проводил, но уверен: большинство предпочли бы гения. В слове "герой" звучит нечто сухое и официозное, недаром его любит и поощряет любая власть. А гениев боится, недолюбливает — и изо всех сил старается превратить в героев (Пушкин). Или, напротив, объявляет своих героев — гениями (Горький).

Казалось бы, в отличие от гения, который рождается таковым от Бога, герой сам себя создает, в нем больше личных усилий, личного достоинства, тогда как гений может быть себя недостоин: пропивать свой талант, зарывать в землю, легкомысленно им пренебрегать. Но именно эта непредсказуемость гения, который сам собой не вполне управляет, и делает его источником чудес и открытий (иногда — откровений), неподвластным любой власти.

Герой, напротив, скроен по человеческой мерке, и потому власть может на него опереться. Точнее, сама власть или общественный порядок лепят героев, превращая одного в образец для всех. Герой, как правило, тот, кто лучше всех делает то, что призваны совершать все; он — исключение лишь постольку, поскольку правильнее всех правил. Он много трудится, непоколебимо предан, идет вперед и ведет за собой. Главная черта героя — мужество, то есть способность пожертвовать собой для выполнения общественной или общечеловеческой цели. Герой всем понятен и для всех поучителен. А гений — это прореха на человечестве, сквозь которую виден туман и звездное небо.



Далекие близкие

С самыми близкими людьми, с которыми повседневно общаешься, труднее всего установить духовные отношения, предполагающие взаимную свободу. С родной матерью, которая варит тебе обед и недовольна новой прической,— ну как с ней вдруг заговорить о посмертном существовании души? Неловко, хотя и непонятно почему. Вот и получается, что с друзьями ты говоришь о высоком и глубоком, а ближайшее, родственное твое окружение — сплошная приземленность и быт.

Чувствуешь несправедность такого разделения, хочешь преодолеть его,— но находит оцепенение. А вдруг твое слово не будет услышано? Булькает бульон, шипит сковорода — и вдруг поэзия, метафизика? Вот так и тянется эта домашняя рутина, спячка души. А как было бы радостно все-таки найти в себе силу на прорыв: выйти на кухню и поделиться сокровенным! Смешно писать об этом как о подвиге, но это подвиг и есть: посягнуть на порядок вещей в его самой закоснелой, повседневной форме. С самыми близкими разговор о главном требует наибольшего дерзновения.

Дательный падеж

Я дан, послан себе. Сначала кажется, что это я дышу, живу, думаю, пишу. И лишь со временем начинаешь понимать, что это *мне* дышится, живется, думается, пишется. Дательный падеж своего "я" нужно отличать от именительного.

Но как различить послание и получателя, если "мне" — все тот же "я"? В том и глубина тайнописи, что послание и получатель одно лицо, и лишь постепенно, с возрастом, он начинает читать и понимать *себя*, как нечто предназначенное и порученное себе. С самого рождения я был таким-то и таким-то, и лишь приближаясь к концу, начинаешь понимать смысл этих свойств и их предназначение, как выполненное, так и невыполненное.

Быть может, в этом состоит смысл двойного акта сотворения человека, как он представлен в Библии. Сначала, в первой главе Книги Бытия, создается человек-сообщение. Бог создал человека по образу своему и благословил их, мужчину и женщину, и сказал им: плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю... (1:27–28). А потом, во второй главе, Бог создает получателя этого сообщения — человека во плоти. "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою" (2:7). Теперь человек может получить то послание, те "образ и подобие", которые в нем заложены.

Чтение требует времени и жизненного опыта. По мере созревания души в ней все яснее проступают буквы первоначального сообщения.

Две стороны свободы

Я не имею права затыкать вам рот, но имею право затыкать себе уши.



Двойное небытие

В основании физической Вселенной, по современным представлениям, лежит вакуум. Но он неустойчив, из него постоянно рождаются частицы, что и делает возможным возникновение субстанции "из ничего". Неустойчивый вакуум способен даже порождать целые вселенные — по одной из известных концепций, так произошел "Большой Взрыв". Если вакуум есть отсутствие частиц, то неустойчивость вакуума есть временное *отсутствие самого отсутствия*. Значит, в основе и вакуума, и его неустойчивости лежит общее "не", которое и объясняет возникновение чего-то из ничего. Поскольку в вакууме нет ничего, кроме него самого, то он "вакуумит" сам себя. Пустота самоопустошается, ничто себя *ничтожит*, образуя нечто от себя отличное. Из этого самоотрицания возникают все конкретные предметы и отношения, бытие которых можно определить как двойное небытие, не-небытие.

Если мы пристальнее взглянемся в мир, нас окружающий, и в самих себя, то обнаружим, что все так называемые положительные признаки являются скорее *дважды отрицательными*, то есть выступают в форме "не-не", неустойчивости своего отсутствия. Светлое в нашем мире, поскольку оно то светлеет, то темнеет,— это неустойчивость не-светлого, то есть темного. Веселое, как свойство моего настроения,— это не веселость как таковая, а неустойчивость не-веселого; и то же можно сказать о грустном. Мы постоянно ощущаем в себе вспыхивание и угасание этих настроений, как виртуальных частиц, возникающих из душевного вакуума.

Эта бытийная расслабленность, неопределенность, "ни то ни се", "шаткость-валкость" мироздания обнаруживает небытие в его основе. Сущее возникает как отношение ничто к самому себе. Любой плюс — это лишь двойное вычитание, наложение минуса на минус. Поскольку в вакууме нет ничего, кроме ничего, то "не" обращается на себя, а тем самым и производит нечто.

Но где же источник этой возвратности, этой складки, залегающей в глубинах небытия и позволяющей ему себя удваивать, то есть отрицать? Вот главная метафизическая загадка.



Дедушка

Такого родственного чувства, как к дедушке, я в своем детстве не испытывал даже к родителям. У них были свои дела и заботы, а у дедушки — только я. Разница в возрасте нас не разделяла, а спланивала — минуя родителей; за их спиной мы как будто обменивались всепонимающими взглядами. И вместе коротали то долгое, сладко-тягучее время детства и старости, внутри которого им, с их спешкой и наставлениями, не было места.

Куда нам было спешить, когда в летний ласковый день мы гуляли, взявшись за руки, по солнышку, в который раз осматривая все тот же повалившийся забор и ржавую бочку? Наша жизнь, не спеша ни к какой цели, наполнялась смыслом сама по себе — высшее благо для тех, кто только начинает или уже заканчивает жить. Мы помогали друг другу почувствовать всю щемящую прелесть ничем не обремененного существования.

Мне думалось, что когда дедушка умрет, то почти вся моя жизнь будет в память о нем, я назову его именем — Самуил — своего сына. Не так это вышло, и даже день его смерти, 13 марта, порой проходит в забвении. Но ощущение горячего дедушкиного присутствия, невидимо охраняющего меня, остается во мне прочнее, чем родительское. Ведь отца и мать мы знаем и тогда, когда вырастаем, в их образах уже стерлась память детства, вытесненная более поздними и сознательными впечатлениями. Дедушка же остается всемогущим и всеблагим богом младенчества, когда еще магически воспринимаешь мир, не развенчивая знанием его таинственную одухотворенность.

Не случайно наивно верующим Саваоф представляется как седобородый старец: они, как внуки, нуждаются в опеке и покровительстве непостижимо превосходящего опыта. И как важно сохранить то чувство благоговения, которое внук испытывает к деду вследствие абсолютной несоизмеримости их опыта! Ведь дед был посвящен в начальную тайну вещей задолго до моего рождения, он создал по своему образу мою маму! Хотя при этом умаляется право "вечного внука" на взрослую самостоятельность, но неизмеримо возрастает его право на самого Бога, его внимание, любовь, попечение.

Когда дедушка был жив, я по малолетству преувеличивал его могущество и всеведение; когда же я стал взрослым, он умер, так и оставшись навсегда за той чертой, где скрывается священное.



Дерево, владеющее собой

У каждого человека есть священное право быть собственником. В маленьком американском городке Афины, который, быть может, не случайно носит то же имя, что и греческая родина демократии, есть дерево, которое в буквальном смысле принадлежит самому себе. Хозяин, полковник Уильям Джексон, так возлюбил это дерево, что в 1820 г., умирая, передал ему права юридического субъекта.

Вот сухая справка из путеводителя по штату Джорджия:

"Самый невероятный владелец собственности в Афинах — белый дуб... В знак восхищения его тенистой красотой, владелец передал дубу юридическое право собственности на самого себя и на всю землю в окружности 8 футов. Дерево было повержено грозой в 1942 г., но другое выросло из его желудя на том же самом месте. Законность прав этого "Дерева, Которое Владеет Собой", никогда не подвергалась сомнению".

Я посетил этот белый дуб, широко раскинувший свои ветви. Он действительно красив и тенист, но более всего поражает в нем не величавый облик, не природа и порода, а царственная принадлежность самому себе. Он не есть собственность ни государства, ни корпорации, ни частного лица. В каком-то смысле этому дереву повезло больше, чем роскошным коронам, алмазам и изумрудам, которые хранятся в царских палатах или национальных музеях. Те сокровища не владеют собой и имеют цену. А этот дуб —

ничей, его нельзя присвоить или продать. Он не только *самовладелец*, но и землевладелец — ему принадлежит земля в окружности примерно 2,5 метров.

Вдруг понимаешь, что есть еще один способ возвеличить бытие, придать ему самодостаточность: раскрепостить вещи, животные, растения,— то, о чем писал Велимир Хлебников:

Я вижу конские свободы
И равноправие коров.

«Ладомир» (1920, 1921)

Возможно, Хлебников понимал освобождение утопически, революционно, по-коммунистически. Ровно за сто лет до Хлебникова полковник Джексон продемонстрировал иной вариант освобождения вещей. Этот юридический акт, совершенный в рамках и на основе капиталистической системы, исполнен поэтической дерзости, которая не уступает хлебниковской.

Детство как урок воскресения

В своем ребенке словно бы видишь заранее весь ход собственного воскресения: это ты, но заново рожденный, призванный жить дальше. Подобно тому, как младенец осваивается в этой жизни, так и мы будем постепенно осваиваться в иной. Душа вживается в незнакомое для нее пространство, протягивает руки, шевелит пальчиками, пробует овладеть телом, в котором она заново рождается... Любовь к ребенку и забота о нем — не есть ли это упражнение для души, обучающейся жить за пределами своего земного бытия? Если философия, по словам Сократа, есть искусство приготовления к смерти, то педагогика есть наука воскресения, приготовления к иной жизни.

Правда, *педагогика* (греч. "дето-вождение") нужно тогда истолковать не как "вождение детей", а как "вождение детьми": не только мы их, но и они нас ведут вперед, по тому таинственному пути, какой всем нам предстоит по окончании дней. Насколько педагогика стала бы глубже, если бы ей, наряду с прежней задачей воспитания детей, была придана обратная задача: воспитывать родителей на опыте детства! И тем самым подготавливать их духовно к новому рождению, к обретению непостижимого мира, в который с младенческой робостью войдет воскресающая душа. В детях нам с достоверностью раскрыто почти все, что мы имеем право знать о своей грядущей жизни. Нам вручается карта, на которой пунктиром обозначены маршруты посмертного передвижения души, способы ее вживания в телесность и пространственность иного мира, в области запретные и опасные. Вот так мы будем впервые касаться вещей, пить

и есть, брать и давать, ходить и говорить... От этого урока, быть может, зависит наше личное спасение.

Мы как родители вводим детей в эту жизнь, а они вводят нас в другую. Вот это *взаимное вождение* родителей и детей из жизни в жизнь и есть педагогика в высшем смысле.



Дзен-встреча с Пелевиным

Обратившись к первым своим английским впечатлениям, я в поисках точных дат залез в свой путевой дневничок весны 1989 г. и нахожу:

"11 апреля. Вечером в ресторане с Сэлли и ее друзьями (ювелирша, Пелевин)".

Сэлли Лэрд — журналистка и переводчица с русского на английский, у которой я останавливался в Лондоне. В ее книге "Голоса русской литературы" (Оксфорд) опубликовано интервью с Виктором Пелевиным. Гм. Так я целый вечер общался с Пелевиным?!

Я, конечно, его читал, в меру восхищался и даже стал его номинатором на премию Аполлона Григорьева, которую он и получил в 2003 г. И я всегда "по умолчанию" полагал, что с В. Пелевиным не знаком и никогда его не видел. И вот, оказывается, я целый вечер 11 апреля 1989 г. провел в компании его и некоей ювелирши и равным образом обоих не запомнил. Полный ноль. Ни черты, ни слова, ни жеста, ни самого факта присутствия и общения. Конечно, жутковато: и за свою память, и за его незапоминаемость.

Наверно, есть в такой нулевой встрече свой промысел и логика самого пелевинского жанра. *Происходит ничто* (это иное, чем "ничего не происходит").

Как известно, Пелевин увлекается дзеном, проявления которого многообразны. *Дзен* — это пустое, странное, непроявленное, например, несостоявшееся событие, лишенное смысла сообщение, и т.д.

дзен-звонок — звонок по телефону, когда не слышно говорящего или слышно только молчание.

дзен-письмо — электронное послание без содержания (с пустым полем).

дзен-собрание — собрание, на которое, кроме тебя, никто не пришел.

дзен-реклама — остается неясным, какой продукт рекламируется или как его приобрести.

Вот и мой вечер с Виктором Пелевиным в ресторане оказался *дзен-встречей*, в которой ровно ничего не произошло и никто никому не запомнился. Надеюсь, ради чистоты *дзен-опыта*, что и он не запомнил меня.

Длинный поводок

Иногда меня спрашивают:

— Как мне лучше себя вести?

Я отвечаю:

— На длинном поводке.

Оставлять как можно большее расстояние между собой-ведущим и собой-ведомым, чтобы у первого был шире круг обзора, а у второго — свобода действия.

Добродетели

Аристотель учит, что добродетель — нечто среднее между двумя пороками. Например, посредине между пороками трусости и безрассудства — добродетель мужества.

Но если вдуматься, то наряду с двумя полярными пороками есть две соотносительные добродетели. Между двумя вышеупомянутыми крайностями: трусостью и безрассудством — есть мужество, которое дальше от трусости, и благоразумие, которое дальше от безрассудства. Точно так же есть порок скупости — и порок расточительства, а между ними две соответствующие добродетели: щедрость, которая дальше от скупости, и бережливость, которая дальше от расточительства.

Отсюда следует, что добродетель не есть некая точка ровно посредине между двумя противоположными пороками, в которую можно попасть, как в мишень. Добродетель — это открытое пространство между двумя добродетелями, и в этом смысле этика должна быть объёмна, стереометрична. Мы смотрим на мир двумя глазами и благодаря этому воспринимаем его объёмно; мы слушаем мир двумя ушами и благодаря этому воспринимаем его стереофонично. Точно так же мы должны воспринимать мир "стереоэтично", как разброс возможностей, пространство колебаний между двумя добродетелями,— и не надеяться попасть в такую идеальную точку, где замирают всякие сомнения и угрызания совести. Нельзя быть в равной степени и щедрым, и бережливым; и смелым, и благоразумным. Приходится выбирать. Двойственность самих добродетелей обрекает любое человеческое действие на несовершенство.



Жажда бессмертия

Нам все дается по мере нашей жажды, потому что сама жажда возникает в ответ на возможность ее утоления. Мы хотим пить, потому что есть питье; хотим есть, потому что есть еда; хотим любить, потому что есть любовь. И если мы хотим жить вечно, значит, этой жажде тоже что-то соответствует в природе вещей, есть источник ее утоления.

Речь не о том, что всякое желание непременно сбывается. Где-то люди умирают от голода. Кто-то всю жизнь жаждет любви, а она так и не приходит. Можно растратить себя на суету минут и дней и не сохранить в душе ничего, достойного бессмертия. Желание требует труда и борьбы, но по сути оно исполнимо, иначе просто не могло бы возникнуть. Не будь бессмертие реальностью, душа не могла бы его жаждать так универсально, во все времена, во всех народах. Не было бы самой этой потребности, как не было бы органов пищеварения, если бы не было пищи.

Желать чужое желание

Любовное желание тем и отличается от похоти, что не может быть удовлетворено лишь телесно — оно нуждается в воле другого человека, взаимодействует с его желаниями (или нежеланиями). *Я желаю чужого желания, которое желает меня.* Как всякая речь есть не просто описание мира, но ответ и обращение к чужой речи, так и желание говорит не просто с объектами, но с чужими желаниями.

В этом *этика эроса*, которая, по сути, исключает насилие. Нельзя действовать вопреки желанию того, кого ты сам желаешь. *Золотое правило эротики* вполне соответствует золотому правилу в этике разных народов, от Греции и Иудеи до Китая, — "не делай другим того, чего себе не хочешь". Золотое правило эротики: не желай от другого того, чего он сам не желает. Или, более позитивно: желай в другом его желания тебя.

Живосердие

Есть одно качество, которое я с возрастом стал сильнее воспринимать в людях, и для него даже слово нашлось: "живосердечие". Это не то же самое, что сердечность или добросердечность. Сердечный человек во всем тебе посочувствует, примет близко к сердцу твои переживания. Добросердечный окажет помощь, окружит заботой и участием. Это сердечность отклика, приятия, содействия. А у живосердечного человека сердце бьется с опережением, он всюду вносит жизнь, и какие-то светлые, радостные блики начинают играть на лицах тех, кто его окружает. Он как бы заводит своим сердцем других людей, делает их внутренне живее, подвижнее, смелее, свободнее. Причем осуществляется это не какой-то правильной идеей, призывом, важностью дела или проекта, а просто ускоренным, увлекающим ритмом сердечной жизни, который невольно передается окружающим. Собственно, "эмоция" — это и означает "движение из" (от лат. *emovere*): она движет человеком изнутри, а затем приводит в движение окружающих. Безо всяких целей и намерений, одним своим присутствием живосердечный поднимает эмоциональный тонус, повышает градус существования, осердечивает все вокруг. Это свойство творческой эмоциональности не зависит ни от ума, ни от веры, ни от прочих добродетелей. Оно одинаково часто — точнее, одинаково редко — встречается среди верующих и неверующих, образованных и необразованных. Зависит от возраста: многие дети живосердечны, а потом это становится уделом очень немногих. Зависит от пола: женщины в целом живосердечнее мужчин. Недаром самый

известный литературный образ живосердечия — Наташа Ростова. Назвать ее "добросердечной" язык не поворачивается (княжна Марья гораздо добросердечнее) — она именно что живая сердцем, подвижная и движущая. А в реальности мне вспоминается Наталья Леонидовна Трауберг. Со всеми своими многочисленными друзьями она делилась жизнью как процессом, который застигает нас врасплох и полон нечаянностей и удивлений. Сама жизнь для нее была творением, чудо которого она переживала с детской непосредственностью.

Живоумие

Ум бывает основательным, здравым, глубоким... Но есть у него особое свойство, которое Блок назвал "острым галльским смыслом". Как-то я сидел в лондонском кафе — и туда вбежали французские школьники: от их насмешливых лиц, быстрых реплик, резвых, но отточенных движений сразу повеяло живым умом...

Вот этого живоумия очень недостает в России. Здесь ум даже очень умных людей, таких, как Л. Толстой, Вл. Соловьев, Н. Федоров и П. Флоренский, склонен как-то застыть в величественных и глубоких, но негибких конструкциях мысли. Напираться на какие-то идеи до упора — вместо того, чтобы видеть их оборотную сторону, подтрунивать над собой, передразнивать потуги на абсолютную истину, а попутно открывать много относительных истин. Или, напротив, ум ведет себя очень нервно, как у Достоевского или В. Розанова, глумливо, издевательски, фельетонно, но в этой желчности тоже чудится что-то нездоровое, близкое к припадку: вот-вот мысль забьется в судорогах, как у подпольного человека, опровергая "дважды два — четыре".

Пожалуй, органически живоумным был Пушкин, воспитанный на галльской культуре, и оттого мы так за него хватаемся... но на всех его не хватит. Мысль Пушкина (вне художества) редко бывает глубока, но она грациозна, естественна, ненатужна, не зациклена на определенных понятиях; не долбит в одну точку, но легко перебегает от понятия к понятию, точным прикосновением его оживляет, расшевеливает. "Острая шутка не есть окончательный приговор. *** сказал, что у нас есть три "Истории" России: одна

для *гостиной*, другая для *гостиницы*, третья для *гостиного двора*". Вот маленький пример пушкинского живоумия (исхожу из того, что тремя звездочками он обозначил себя же). Живоумие важнее для судеб российской интеллигенции, чем глубокомыслие, которое утопает (и впадает в утопию) на мелких местах. Среди плодов глубокомыслия — и доморощенная эсхатология, и конспирология, подозревающая всемирный враждебный заговор за малейшим нарушением обычного хода вещей.

В России есть сильная традиция антиинтеллектуализма, "умоборчества": дескать, ум враждебен живой жизни и не способен ее постичь. Но это свойство именно такого ума, который склонен умствовать, умничать, то есть обслуживать самого себя. Где неживой ум, там и неумная жизнь, бессмысленная, беспощадная к самой себе. Однако умничанье — это не свойство истинного ума, а скорее, его подростковая болезнь, свидетельство его незрелости. Живоум, не выпрямляющий понятий, но и не ломающий их о колено, нужнее всего зрелой нации, которая не дергается в припадках мироспасительства и не готовится жертвенно к концу света, а собирается жить долго, терпеливо, со вкусом и в свое удовольствие.

Жизнь и живое

Иван Карамазов призывает "полюбить жизнь больше смысла ее". Вроде бы правильно — ан нет. Жизнь-то он, может быть, и любит, а живое не любит. Ни отца, ни братьев, ни влюбленную в него Лизу, ни даже Катерину Ивановну... тем более какого-то там чужого, измазанного дерьмом ребенка с его глупой слезинкой, за которую якобы так обижен на Бога, что истерически готов вернуть ему билет в небесное царствие. Никого он никогда по головке не погладил, никому слезинки не утер. Все это только слова, только тезис в защиту жизни.

Все-таки "жизнь" — это только понятие: с ней не поговоришь, ее не коснешься, не заглянешь в глаза, не пощечо-чешь за ушком. Полюбить живое больше самой жизни. Это и труднее, и легче всего.

Жизнь — печальная вещь...

Но прожить ее нужно радостно.

Жить по любви

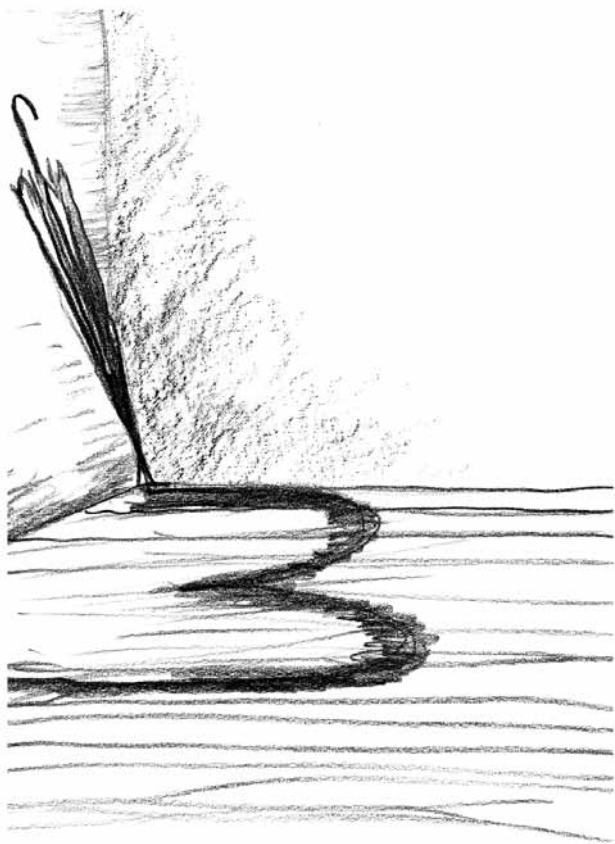
Есть устойчивое выражение "жениться (выйти замуж) по любви", и словосочетание "по любви" в основном им и ограничивается (не считая полуиронического "секс по любви"). Но стоит расширить область его употребления. Можно ведь читать или писать не только из долга, по профессиональной обязанности, в рамках учебной программы, но и по любви к чтению или письму. Можно и мороженое есть по любви — а не механически, по привычке, за компанию, из-за жары. Любовь во всех этих контекстах противопоставлена долгу, обязанности, обусловленности, необходимости, случайности...

Отсюда вырастает миропонимание: "жить по любви", то есть руководствуясь любовью к тому, что делаешь и чем наполнена твоя жизнь. Это близко к солженицынскому "жить не по лжи", только на место отрицания становится утверждение: любовь — нелживая, неложная сторона жизни. Думать, действовать, выражать себя — по любви к той жизни, которая нам дана в этих ее проявлениях.

Так очерчивается новый символ: жить значит любить, любить значит жить.

$$\text{Live} + \text{Love} = \text{L}\textcircled{\text{I}}\text{VE}$$

Прямое I и округлое O представляют союз мужского и женского — то, что происходит в любви и порождает жизнь.



Заветная черта

Когда происходит что-то хорошее, оно может переживаться как радость — или как грусть. Сидите в ресторане с близким человеком, хорошо друг друга понимаете, тихая прекрасная музыка, вкусная, изысканная еда, полное растворение душ — и при этом грустно. Почему? Такая грусть — следствие переполненности, когда слишком много вообрал в себя, не остается сил на радость, на другие эмоции. Все, что можно, уже вмещено душой, и тогда она грустит оттого, что не может вместить больше, от ощущения своих границ. Это не "светлая печаль" в пушкинском смысле, то есть печаль разлуки, осветленная внутренней близостью, надеждой на встречу... Это, наоборот, печаль полной близости, за черту которой не дано двинуться смертным, печаль, которая настигает нас именно на вершине радости, наслаждения, воплощенности.

Не об этом ли у Ахматовой?

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти,—
Пусть в жуткой тишине сливаются уста,
И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие — поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

Так тоскует душа, достигшая всего желанного и освободившаяся от своих порывов, уже бестрепетная, неспособная участвовать в собственных восторгах, отстранившаяся от них.

Эта же грусть переполнения может достигать нас не только в любви и наслаждениях, но и в труде — как у Пушкина:

Груд

Миг вождеденный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как подёнщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Вопрос поставлен, но остается без ответа. "Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?"

Попытки ответа у Пушкина мельче самого вопроса. Причина грусти — не в отчуждении от своего труда, а в том, что на вершине воплощенного замысла, в "миг вождеденный" душа осознает, что не может двигаться дальше, что она достигла предела, исполнила сужденное ей и исчерпала себя. Значит, не только в близости людей, но и в отношении творца и творения есть "заветная черта", которую не дано переступить. Такая грусть — осознание пределов земного блаженства. В самой безудержной радости вдруг почувство-

вать, как растянуты мышцы души, как она устала от своей переполненности,— вот это и есть грусть хорошего.



Запутаться, чтобы понять

Иногда нужно сказать противоположное об одном и том же, чтобы его понять.

"Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной"
(И. Бродский)

Но ровно с той же размеренной интонацией и выношенной правотой можно произнести:

"Что сказать мне о жизни? Что оказалась краткой".

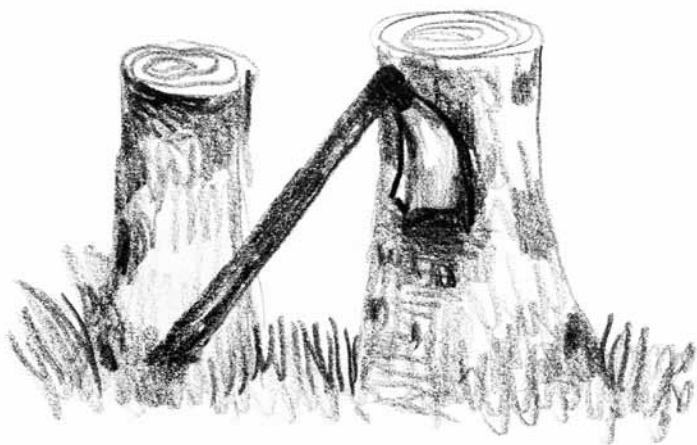
И вот когда представишь всю долготу своей жизни и одновременно почувствуешь всю ее краткость, а потом и долготу этой краткости, а потом и краткость этой долготы; когда несколько раз обратишь одно в другое; когда запутаешься и откажешься от этих определений,— тогда, может быть, истина и настигнет тебя. Надо только очень сильно запутаться и потерять надежду на выход.

Зонт

Зонт — одна из самых мифических принадлежностей нашего быта. Кажется, что во многих фильмах дождь идет только потому, что необходимо показать героя или героиню с зонтом. Дело в том, что зонт поддается быстрым трансформациям из мужского образа в женский. Сложенный, он прям, раскрытый — куполообразен. Знамение гендерной революции — обратимость пола, смешение признаков. Этот гермафродитизм явлен в силуэте зонта с его мгновенными бисексуальными превращениями. Яркая выраженность форм сопровождается легкой их трансформацией, что гармонирует с эстетикой трансвестизма.

Да и чисто геометрически зонт есть совмещение противоположностей: трость, которой упираются в землю, — и шатер, раскинутый над землей. Посох для странствий — и обретенный кров. Купол, который сам воздвигаешь над собой, — странствующая церковь с единственным прихожанином, хрупкий храм эпохи одиночества и разобщения. Зонт есть разрешенное противоречие между храмом и дорогой, кругом и прямой, щитом и мечом...

В старину мудрец сидел под деревом, которое прямизной ствола и пышностью кроны олицетворяло мировое дерево — растущую в небо мысль самой земли. Жизнь зарождается в корнях, под ногами человека, но затем возносится над ним своей кроной, защищающей от гнева и плача небес. Зонт — мировое дерево наших дней, вырванное из почвы и зажатое в слабых руках: человек не обретает под ним покой, но сам несёт его над собой.



Иллюзия

Если "я" и свобода воли — это иллюзия, то будем благодарны Создателю и за эту иллюзию, которая позволяет нам быть собой и отвечать за свои поступки хотя бы в собственных глазах.



Иноумие

В стихотворении Пушкина "Не дай мне Бог сойти с ума..." выразились два сильнейших порыва творческого разума. С одной стороны, разуму тесно в собственных пределах, он ищет безумия как праздника освобождения:

Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

С другой стороны, разум страшится безумия как пущей неволи:

Да вот беда: сойдешь с ума
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут...

Расстаться с разумом — но не навсегда, *сходить с ума в пределах самого разума*, отпускать его далеко — но держать под присмотром: таков спасительный исход, предлагаемый пушкинской "диалектикой" творческого безумия.

Отсюда следует, что разум должен знать *свое иное*. Если безумие — это взрыв разума, то *иноумие* — это *управляемое* безумие, как бывает управляемый взрыв. Великим мыслителям и поэтам свойственно именно иноумие — способность преступать границы здравого смысла, при этом осторожно обходя пропасть смыслоутраты. Если это управляемый взрыв, он не должен отрывать руки самому взрывнику, как в тех случаях, когда творческое безумие

переходило в клиническое (Гельдерлин, Ницше). Иноумие раздвигает пространство мышления, но не подрывает саму способность мыслить. Это незаменимое орудие разума, его самоотчуждение как высшая ступень самообладания.

Если поэтическая *заумь* есть способ остранения языка, то философское *иноумие* есть способ остранения мысли, одновременного ее подстегивания и обуздания. Иноумие — это искусство мыслить опасно, игра разума на границе с безумием, игра, в которой самому мыслителю не всегда дано отличать поражение от победы.



Интересное

Что вызывает наш интерес? Нечто такое, что, с одной стороны, выглядит маловероятным, а с другой — предъясняет неоспоримое доказательство своего существования. Теории, которые доказывают нечто очевидное, пусть и убедительно, лишены интереса, как и те, что доказывают нечто маловероятное, однако неубедительно. По-настоящему интересна именно такая теория, которая наиболее последовательно доказывает нам то, что наименее вероятно. Знаменитое высказывание Нильса Бора: "Эта теория представляется нам истинной, но достаточно ли она сумасшедшая, чтобы быть вполне истинной?" — выражает обе стороны интересного: маловероятность и достоверность.

Слово "интересное" только сравнительно недавно, в 18-м веке, стало использоваться как синоним любопытного, вызывающего интеллектуальный интерес. До этого оно употреблялось как финансовый термин, в значении прибыли. Меркантильный интерес возрастает по мере того, как вложение увеличивается, а вероятность успеха снижается: наибольшую прибыль приносят самые рискованные вложения. Точно так же самыми интересными становятся наиболее рискованные высказывания. Чем меньше гарантии, тем больше интереса.

Таким образом, "интересное" можно определить почти математически: как дробь, в числителе которой достоверность, а в знаменателе — вероятность. Чем более достоверна и чем менее вероятна та или иная идея, тем она интереснее. Это относится не только к теориям, но и к литературе. Лучший сюжет — тот, в котором сочетаются невероятность

событий и их психологическая или иная достоверность; непредсказуемость — и неизбежность.

Особенно наглядна эта конденсация интересного в самом кратком жанре, в афоризмах, которые являют нечаянность истины, бросающей вызов здравому смыслу. Классический афоризм — высказывание Гераклита о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Здравый смысл вопиет: почему же нельзя? — но если учесть, что вода в реке непрерывно течет и обновляется, то обнаруживается истинность этого далеко не очевидного утверждения. "Действие — последнее прибежище тех, кто лишен воображения", — в этом афоризме О. Уайлда выворачивается наизнанку банальное представление о том, что к мечте склонны люди, неспособные к действию. Именно в таких парадоксах и раскрывается глубина интересного.

Что самое невероятное для человека? Наверное, преодоление смерти. Именно воскресение, описанное в Евангелиях, оказывается самым интересным, центральным событием в истории цивилизации, которое делает наше проживание времени целеполагающим, направленным к достижению бессмертия. Это пример того, насколько интересное, то есть невероятно-достоверное, формирует наше бытие и лежит в основании нашей культуры.

Иррациональное

То, что реальность глубоко иррациональна, доказывают иррациональные числа. Целые числа хороши в религиозных откровениях, философских умозрениях, моральных правилах и аллегориях. Например, Единицу, как число Вечного и Всеединого, нельзя не почитать. Троица — тайна неслиянности и нераздельности ипостасей Божества. Нельзя не восхищаться шестиконечной звездой Давида или седмицей, сочетающей триаду и тетраду...

Но меня особенно изумляет число Пи:

3,1415926535897932384626433832795028841971693993751...

— бесконечная иррациональная дробь. Вот эта иррациональность глубоко правдива — правдива именно своей неисчислимой бесконечностью, которая ускользает от разума, убегает за всякий предел.

Почему бы кругу, геометрическому образу совершенства, не соответствовать математически богоподобному числу три? Чтобы число Пи было чистой троицей — по отношению длины окружности к радиусу. Как бы ум радовался, и догма торжествовала! Сама природа демонстрирует нам правду троичности!... Ан нет, хвостиком махнуло это число Пи, невзрачной какой-то дробью, *141592653...*, добавленной к троице — и убежало от разума.

Целые числа очень красивы, но сама красота мироздания говорит на языке иррациональных дробей. Вот золотое сечение — великая тайна прекрасного, закон архитектурных пропорций, изобразительных и музыкальных композиций.

В этом сечении целое делится так, что относится к своей большей части, как эта большая часть — к меньшей. В целых числах это выражается пропорцией $13:8=8:5$. Но это лишь грубое приближение, а по сути золотое сечение тоже иррационально и бесконечно:

1,61803398874989484820458683436563811772030917980576...

Вот вам и Достоевский: "красота — это страшная и ужасная вещь". Что разуму — срам, то за сердце хватает.

Если уж гармония сама по себе иррациональна, если окружность относится иррационально к радиусу, то какой рациональности добиваемся мы в своих отношениях с Богом и людьми?

Искорка и слезинка

Есть два вопроса, которые глубже всего возмущают наше чувство справедливости. Первый: почему невинные страдают, а бесчинные преуспевают? Этот вопрос ставится в "Книге Иова", а затем заостряется в "Братьях Карамазовых". "Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка". Итак, можно ли оправдать Бога перед лицом незаслуженно страдающего человека?

Второй вопрос: почему самые щедро одаренные от Бога часто оказываются недостойными своего дара, а люди усердные, работающие не отмечены никакой благодатью свыше? Почему великий художник может быть ничтожным или даже подлым в своем житейском поведении — и наоборот, труженик, преданный своему ремеслу, лишен творческого дара? Гений беспечного Моцарта, недостойного самого себя, — это такая же несправедливость, как и страдания мальчика, разорванного генеральскими собаками. "Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и — выше".

Отсюда два бунта против Всевышней несправедливости: бунт Сальери и бунт Ивана Карамазова. Если Иван возвращает Богу билет на вход в небесное царство из-за детских страданий, то еще раньше пушкинский Сальери возвращает свой билет Господу, подсыпая яд Моцарту.

О небо!

Где ж правота, когда священный дар,

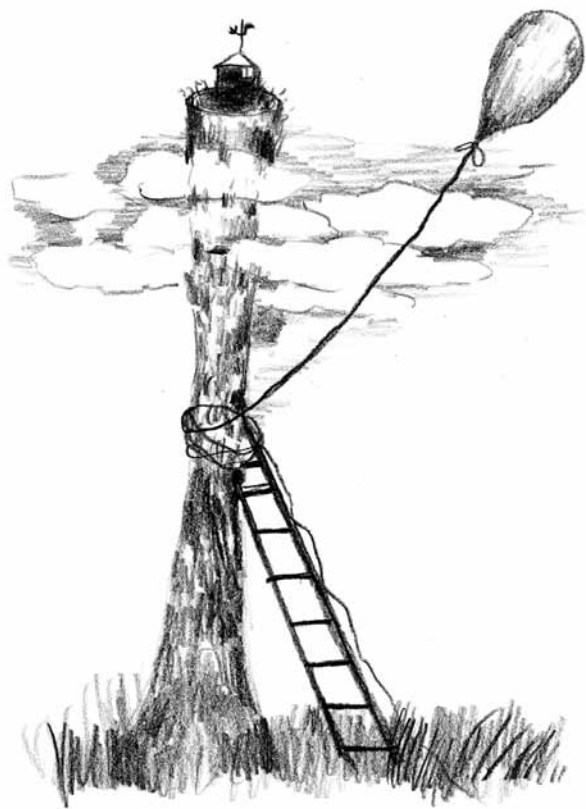
Когда бессмертный гений — не в награду

Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?

Как быть с этой *двойной* несправедливостью? За что слезинка ни в чем не повинному ребенку? За что искорка Божия гуляке праздному?

Ответ на оба вопроса — в словах Евангелия, которые Достоевский взял эпиграфом к "Братьям Карамазовым": "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода". Человеческое страдание — как семя, которое, падая и умирая в земле, приносит невидимый плод в иных мирах. И человеческий дар — тоже семя, принесенное из иных миров, чтобы возрасти на этой земле. Как говорил старец Зосима, "Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло всё, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным..."

Нам не дано знать, что произрастет из безвинной слезинки, и не дано знать, откуда берется дар в недостойном его человеке. Но именно этим незнанием познается инаковость других миров.



Как дела?

На вопрос: "как дела?" — американцы неизменно отвечают "прекрасно!" (good, fine, great!), тогда как в России часто начинают ныть и плакаться. Порой это даже воспринимается как долг вежливости: пожаловаться на свои неудачи — значит польстить собеседнику, дескать, тебе лучше, чем мне. В Америке наоборот: пожаловаться — значит переложить на другого свою беду в расчете на сочувствие, а это дурной тон. Собеседник будет искренне удручен — зачем же его обременять? В России свое как бы противопоставляется чужому, и потому сетование на судьбу может быть приятно собеседнику и восприниматься как косвенное признание его удачливости. Так что традиционные российская отзывчивость и американское равнодушие исходят, как ни парадоксально, из противоположных посылок: из скрытого злорадства и установки на сочувствие. Правда, в последнее время и в России начинает действовать правило: "не грузи".

Как нас пишут

Чтение — процесс двусторонний. Пока я читаю писателя, он меня пишет, то есть создает новое произведение, уже не из текста, а из другого теста — человеческого. "Литературное произведение" — понятие намного более широкое, чем обычно трактуется. Читатель — тоже произведение. В общении с человеком всегда ощущаются его литературные источники. Вот этого сочинил М. Булгаков. А того — А. Камю. А от этого, увы, слышится только шелест газет. Все мы отчасти выдуманы теми, кого читаем. И в этом — главное назначение литературы.

В отличие от целиком вымышленных литературных персонажей, читатели сочиняют себя в свободном сотрудничестве с писателями. Чичиков или мадам Бовари полностью зависят от своих создателей, их связь с Гоголем или Флобером неразрывна. А у нас, читающих, есть широкий выбор соавторов. Мы вольны сотрудничать с Гомером и Шекспиром, с Байроном и Бальзаком в искусстве самосотворения. По собственной воле — для создания всего лишь одного персонажа, самого себя — мы можем смешивать разные стили, соединять чеховское и бунинское, углублять Борхеса Кафкой, а густой мазок Толстого разбавлять прустовской прозрачностью. Мы можем стать шедевром мировой литературы, плодом совместных усилий ее величайших гениев, — или же продуктом массового чтива. Все зависит от того, кого мы выбираем себе в соавторы.

Когда разогнутся книги

Куда мы несемся в 21-ом веке, утратив уверенность всех прежних религий и философий, но подхваченные небывалым техническим вихрем? Кажется, мы несемся на тот свет. Как вслед за Старым Светом был открыт и обжит Новый, так теперь мы переселяемся с Этого света на Тот, только не замечаем этого, поскольку весь мир, все видимое движется в одном направлении.

Конец мира раньше мыслился как революция или разверзание небес, а нам открылась эволюционная эсхатология: из года в год, от изобретения к изобретению. От генетической спирали к геной инженерии и клонам; от телевидения к виртуальному пространству; от компьютера к киборгу и искусственному разуму... Технология — это и есть прикладная эсхатология, которая переносит нас из материального в идеальное, умопостижимое. Глядь — и мы уже существуем в другом измерении, которое было закрыто для наших предков. Разве могли бы они понять и даже воспринять нас, несущихся в самолетах, беседующих по телефону, общающихся по компьютеру? По отношению даже к миру Гете, Гегеля, Пушкина, наш — иной свет, более дальний от них, чем Новый был от Старого.

Эсхатологии на каждом шагу мерещится конец света, но скорее всего нам предстоит дальняя дорога. Мы ведь только выбираемся из пеленок своего биовида, только учимся говорить на языке генов, только начинаем понимать структуру мозга. Теперь уже можно представить, какие пути нам предстоят:

- а) в микромир;
- б) в космос;
- в) во вселенную знаков, текстов и смыслов;
- г) в иные физические измерения и параллельные миры;
- д) вглубь себя, в мир своего подсознания и сверхсознания...

И все это только для того, чтобы в конце концов раздвинулись перед нами последние завесы и *разогнулись книги...* Как сказано в одной стихире, в конце мира, перед Страшным Судом, книги "сами разогнутся". Те книги, в которых до последней буквы записано все, чем мы были, есть и будем, все наши помыслы, слова и поступки. "Быть может, магическая формула начертана на моем челе, и цель моих поисков — я сам" (Х.Л. Борхес. "*Письмена Бога*").

Кого здесь любят?

Начальников не любят. Холуев презирают. Богатых не любят. Бедных презирают. Сильных уважают, но не любят. Слабых презирают. Шибко умных не любят. Над дураками смеются. Ворами возмущаются. Честным не верят, подозревают подвох. Улыбчивым не верят, чего они скалятся? Плачущим не верят — на жалость берут! Над здоровыми и пекущимися о своем здоровье насмеваются: "здоровенькими помрут". Больным и убогим подают, но не любят: чего они сели на нашу шею!

Вопрос: кого же здесь любят? Неужели "безлюбивая страна"? (М. Цветаева).

Любят мертвых. Вот их хоронят с удовольствием. Надгробные речи, поминки, памятники, музеи. Проводы в мир иной — любимое занятие народа.

Критерий реальности

Все физические объекты в принципе воспроизводимы. Уже сейчас голография создает полную оптическую иллюзию объекта. Виртуальные миры по своей чувственной достоверности все более приближаются к реальному миру. Нанотехнологии будущего смогут из квантов строить любые объекты с заданными свойствами, включая тактильные и вкусовые. Что такое реальность и чем она отличается от нереальности, становится все менее очевидным благодаря новейшим научно-техническим методам симуляции.

При этом, как ни парадоксально, значение человеческого и даже сугубо личного не падает, а возрастает. Критерием реальности в будущем станет не материальность предмета, который легко подделать, а наличие субъективной воли, которая извне направлена на меня. Если я чувствую себя востребованным, желанным или, напротив, ненужным и нелюбимым, то этим и задается подлинная действительность. Это уже не привычно определяемая "объективная реальность, данная нам в ощущениях", а *вовне находящаяся воля*. Вся реальность фокусируется в этой точке чужого "я" и его отношения ко мне. Все можно подделать — только не волю и желание. Точно подделанный предмет — это тот же предмет. Поддельная воля — это уже не воля, а отсутствие таковой. Притворное желание — это уже не желание, а всего лишь притворство.

Кротость Бога

У св. Силуана сказано о кротости и смирении Бога: "Он создал рай, Он Сам лучше рая, тебе известна Его тишина и кротость".

Кто кроток? Тот, кто отвечает Иову из бури? Тот, кто говорит "Мне отмщение, и Аз воздам"?

Да, кроток. Он не просто сотворил мир, он смиренно сосуществует с миром, предоставляя в нем волю своим творениям. В каждом проявлении своей свободной воли почувствуй кротость Бога, его деликатность, ненавязчивость, умение выслушать тебя, не перебивая, не подавляя. Ты можешь повернуть направо или налево, ты можешь заговорить или замолчать — это Его кротость. Пойми каждый свой свободный поступок и саму возможность выбора не как всеисие своего "я", а как акт Его смирения, почтительного отступления, уважения к тебе.

Культура как опыт бессмертия

"Жизнь коротка, искусствоечно" — это изречение Гиппократы обычно рассматривается как антитеза жизни и искусства. Но нет ли между двумя частями этого древнейшего афоризма и причинно-следственной связи? Именно потому, что жизнь коротка, она столь торопится создать нечто, что ее переживет, — искусство в широком смысле слова. Если бы жизнь продолжалась бесконечно, она не нуждалась бы в искусстве. Но раз я смертен, то пусть нечто, сделанное мною, переживет меня. Жизнь кратковременна — и потому искусство долговечно.

Почему культура приносит нам удовлетворение? Писать, рисовать, петь, играть, перевоплощаться — почему этого просит душа? Культура есть черновой набросок бессмертия, его условно-символическая форма, подражание бессмертию, как жизнь христианина мыслится подражанием Христу. Иначе как объяснить, что мы часами бьемся над какой-то строкой или мазком? Да пропади оно пропадом, если все равно умрем!

Вряд ли можно, следуя Фрейдy, объяснять стремление к культуре скрытым утолением полового инстинкта в виде сублимации, то есть вынужденной или добровольной его отсрочки/возгонки, от которой происходят все сновидения, искусства, религии... Собственно, в рамках этой теории культура и не приносит удовлетворения, а напротив, причиняет неудобство и страдание, поскольку подавляет половой инстинкт или в лучшем случае дает его иллюзорную разрядку (З. Фрейд. "Неудовлетворенность культурой"). Получается, что культура — это отходы либидо, свалка

неутоленных влечений. Но мы-то знаем, что культура приносит истинное удовлетворение — не половому инстинкту, а инстинкту бессмертия, разновидностью которого половой инстинкт является (завековечить себя в своем подобии, в потомстве). И если человечество готово подавлять половой инстинкт ради культуры, то, очевидно, лишь потому, что оно ищет более высокую и надежную форму бессмертия, чем воспроизведение себя биологическим путем. То, что Мандельштам в своей воронежской ссылке, уже на краю гибели, назвал "тоской по мировой культуре", было тоской по бессмертию, выживанию в строчках или полотнах, коль скоро природой не дано выжить их создателю.

Культура есть величайший аргумент в пользу бессмертия, более убедительный, чем все пять метафизических доказательств бытия Бога. Города, музеи, поэмы, романы, трактаты — это образы вечной жизни, хотя в них спасения (и то временного) удостоен еще не сам человек, а только его творения.





Лиха беда начало

Любое дело, по мере доведения до конца, начинает замедляться. Маленький наглядный пример: когда чистишь фрукты или овощи, половина времени уходит на то, чтобы снять почти всю кожуру, а другая половина — на устранение оставшихся погрешностей. Подтверждаю теорию экспериментом: мне понадобилось 45 секунд, чтобы очистить большое яблоко на 90–95 процентов, и еще 45 секунд, чтобы снять оставшиеся тонкие полоски кожицы, темные точки и кожуру вокруг основания и верха.

То же самое в работе над книгой: половина времени уходит на формирование ее костяка и основной массы текста и столько же — на мелкие детали, сноски и единичные исправления, составляющие 5–10 процентов ее объема. Вот и вопрос: не стоит ли эту половину времени потратить на написание другой книги? Что лучше: две картошки с оставшимися глазками или одна идеально очищенная картошка? Я думаю, что Бог, сильно ограничив время нашей жизни, призывает нас поторопиться, признав невозможность совершенства. Лучше две вещи, удавшиеся на 95 процентов, чем одна — на 99 процентов. Ведь полное, стопроцентное совершенство все равно невозможно.

Есть люди, которые тратят всю жизнь на доведение до конца какой-то одной идеи, мгновенно их озарившей, например, художник Френхофер в рассказе Бальзака "Неведомый шедевр" или художник Александр Иванов, фактически писавший всю жизнь одну картину "Явление Христа народу". Преклоняясь перед одержимостью этих творцов, нельзя не ужаснуться их гордыне, той жажде богоравного

совершенства, которое ведет к безумию и творческому поражению. Если совершенство невозможно, то не лучше ли полжизни потратить не на четыре процента улучшения, а на 95 процентов созидания?

Личные аксиомы

У каждого человека есть свои жизненные правила, "аксиомы". Попробую определить свои.

На первое место я бы поставил "усилие без насилия". Это значит, что нужно постоянно совершать какие-то усилия, но при этом стараться, чтобы они не перешли в насилие над предметом. Если ключ не поворачивается в замке, не нужно силой его проворачивать, лучше поискать другой ключ. Если, например, я звоню по телефону и номер долго занят, разумнее оставить попытки и отложить звонок: вероятно, у того человека есть более важные дела, а если я и дозвонюсь, то результат разговора скорее всего меня разочарует. Умение плавно обходить препятствия — это свобода, вобравшая в себя необходимость.

Второе правило: ничему себя не противопоставлять и ни с чем не отождествляться. Действовать в зоне различия, где все тождества и противоположности слегка размыты, перечеркнуты косым почерком мимо-бытия. Как только я оказываюсь в тождестве с какой-то группой, позицией, я чувствую удушье и стараюсь приоткрыть окно в иное пространство, стать диссидентом и еретиком. И наоборот, как только я упираюсь во что-то жесткое, явно мне противоположное, я отступаю — не назад, а в сторону, чтобы оно прошло мимо, меня не задев и не надломив. Я встречаю того, кто "хочет меня уничтожить", не приветственным гимном, но и не вдохновенной отповедью, а скорее намеренно вялым, неохотным допущением, что мы оба не всегда правы.

Третья аксиома: не обременять других лишней информацией о себе и своих близких. Люди меняются, я меняюсь,

зачем им уносить слепок моего "я", которого уже нет, и подвергать их искушениям предательства? Так учила меня моя мама, прошедшая через эпоху всеобщей подозрительности. Но дело не только в страхе, что другие могут обратить против меня знание обо мне. Это щадящая мудрость: не перегружай другого лишним знанием, ибо во многом знании многая печаль; а главное, не будь сам его предметом. Если мы слишком доверяем другому, мы подвергаем его искушению. Люби ближнего больше, чем свой образ в нем. Таковы три мои маленькие аксиомы, которые я не советую никому принимать на веру, ибо они рождены моим опытом и в нем же должны остаться.

Любовь, а не добро

Злу противостоит не добро, а любовь. Нигде не сказано, что Бог — добр. Но "Бог есть любовь" (1 Иоан. 4:16). На первый взгляд, добро выступает как антипод зла, но по сути они взаимосвязаны, о чем и повествует библейская притча о грехопадении. "Познание добра и зла" с запретного райского дерева обнаруживает их неразрывность: зло представляется добром, а добро оборачивается злом. Ведь добро можно осуществлять насильственно, навязывая его человеку, превращая в *злобро*. Добро бывает холодным, бесчувственным, равнодушным, надменным. Великий Инквизитор желает добра своим подопечным, облегчая им бремя свободы. Даже самые страшные преступления против человечества, творившиеся тоталитарными режимами, проистекали из стремления к добру, как ни своеобразно оно понималось Лениным и Сталиным или Гитлером и Мао Цзедунем. Но все это "доброжелательство" не любит людей, презирает их, слабых, глупых, несчастных. Сколько философских и политических машин добра возведено в словах и в металле — и человеку неоткуда ждать пощады! Такие системы добродетей, возвышая одних: богатых, бедных, рабочих, аристократов, — унижают других: бедных, богатых, аристократов, рабочих...

Как же выживает человек в этой давящей, где счет жертв ведется на миллионы? Благодаря неприметной, от сердца к сердцу вспыхивающей искорке любви. Всегда только так — от одного к другому, минуя общества, союзы, партии, классы, религии. Лучше расслаблять сердца любовью, чем

ожесточать их правотой. Любовь всегда права, а правота не-права, если безжалостна.

Единственный критерий, позволяющий отличить подлинное добро от поддельного,— это любовь. Любящее добро, в отличие от ненавидящего, творится по частностям, вне системы, оно вспыхивает в слабом человеческом сердце — и гаснет, когда властью идеи или принципа его пытаются впихнуть в людские умы и судьбы. Даже подвиги добра и веры бессильны против зла, если не движимы любовью. "Если имею *дар* пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что *могу* и горы переставлять, а не имею любви,— то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы" (1 Кор.13:2-3).

Разве может какая-то система или принцип добротворения учесть это непредвиденное, неподвластное разуму — объятия, вдруг открытые врагу; слово пощады, сказанное поверженному; да и просто внезапное смущение, омрачающее миг уверенности и торжества. Все властные системы добра приходят и уходят, а это, ненамеренное, непредумышленное — остается. От слабости, непоправимой сердечной слабости и творятся такие дела,— не может сердце сравниться в твердости с рассудком, повелевающим: покоряй, ликуй, делай всех счастливыми! Сила любви — в слабости сердца.

Любовь, Бог и Вселенная

Представим, что на свете есть одно—единственное существо. Была бы тогда возможна любовь? Философ Бенедикт Спиноза утверждал, что поскольку всё есть Бог и нет ничего, кроме Бога, то Бог любит самого себя бесконечной любовью.

Теорема 15. "Все, что только существует, существует в Боге..."

Теорема 36. "... Познавательная любовь души к Богу составляет часть бесконечной любви, которой Бог любит Самого Себя" ("Этика").

Конечно, если признать, что Бог есть всё, то что еще Ему остается любить, как не Себя? Но разве любовь, по сути своей, не есть отношение к другому? Разум может допустить всеобъемлющее бытие Бога, а то, что Бог любит только Самого Себя, сердце допустить не может. Потому что оно имеет опыт любви и знает, что любовь предполагает инаковость любимого.

Тогда становится понятнее, зачем Бог создал мир. Об этом ничего не говорится в начале Книги Бытия, там сразу представлено действие: "В начале сотворил Бог небо и землю" (Быт. 1:1). Но ответ на загадку Ветхого Завета содержится в Новом Завете, в словах апостола Иоанна о том, что Бог есть любовь и что любящему нужен другой — любимый.

"Возлюбленные! будем любить друг друга ... Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него" (1 Ин. 4:7–9).

Не самих себя призывает любить апостол, а "друг друга". Очевидно, что и Бог любит не Самого Себя, если посылает Сына на смерть ради человечества. Этим объясняется не только причина спасения человека, но и цель сотворения мира: любовь ищет себе другого.

Космология постепенно приближается к описанию Вселенной в первые секунды после Большого Взрыва, но в принципе никогда не сможет заглянуть в то, что ему предшествовало, поскольку само это "пред" лишено смысла вне категории времени, а оно тоже возникло лишь с Большим Взрывом. Но до чего умом не дойдет физика, до того сердцем может дойти всякий имеющий опыт любви. Творец выходит из самобытия, потому что Он есть Любовь, а значит, ему нужно обрести мир вне себя.

Любовь не просто движет Солнце и светила, она их создает. Только в нашей галактике — 100 миллиардов звезд, а всего в известной части Вселенной — 50 тысяч миллиардов галактик. Таковы масштабы космической любви, сотворившей Вселенную. Частица этой Любви проникает и в человеческое сердце и тоже производит в нем Большой Взрыв, который мы называем просто "любовью".

Любовь и счастье

Любовь — это когда и во сне видишь того, кто спит рядом.
Счастье — это когда просыпаешься и видишь рядом того,
кого видел во сне.





Магия вещей

Я люблю вещи, которые содержат в себе маленькую тайну, зеркальце, поворот ключа — возможность развеществления. К числу таких материальных явлений, выражающих призрачность самой материи, относятся: пена, раковина, вино, маска, маятник и другие. Эти вещи кажутся магическими, ибо они находятся на грани бытия и небытия, они есть и в то же время их нет. Они являют двойственность самой жизни, которая включает в себя смерть.

В юности я придумал науку фантоматику, которая классифицирует подобные вещи и исследует через них слои бытия и небытия, попеременно проступающие в них. Не притязая на строгую классификацию, я выделял следующие основные типы фантомалий (так можно назвать эти странные предметы):

1). Самоисчезающие: пузырь, искра, снежинка, мыло, клубок. Пузырь лопается, искра гаснет, снежинка тает, мыло смыливается, клубок разматывается.

2). Обратимые: лестница, маятник, в которых все движения повторяются в обратном порядке.

3). Складные, раздвижные, прячущие и раскрывающие себя: веер, зонт, ширма.

4). Растущие, метаморфозные, изменяющие форму: зерно, семя, куколка.

5). Сквозные, ячеистые, дырчатые, функционально использующие пустоту: сеть, решето, сосуды, соты.

6). Возникающие на грани разных стихий, в их кратковременных сочетаниях: пена, пузырь, искра.

7). Сокровенные, замкнутые, то есть не показывающие себя до конца: раковина, яйцо, орех. Сохраняя скорлупу, нельзя извлечь ядро; достав ядро, нельзя сохранить скорлупу. Целость выдает свою тайну лишь ценой разрушения.

8). Мимикрирующие, выдающие себя за другое: зеркало, маска, парик.

9). Пропускающие и отражающие — и при этом преломляющие свет: призмы, магические кристаллы и шары, кривые зеркала, в которых образ реальности отличается от нее самой.

Вот среди каких вещей-невещей я чувствую себя своим.

Матрешта

Михаил Еленович Ломоносов, Александр Надеждович Пушкин, Михаил Марьевич Лермонтов, Николай Марьевич Гоголь, Иван Варварович Тургенев, Лев Марьевич Толстой, Федор Марьевич Достоевский, Антон Евгеньевич Чехов, Петр Александрович Чайковский, Владимир Поликсенович Соловьев, Василий Анастасьевич Розанов, Павел Ольгович Флоренский, Николай Алинович Бердяев, Борис Розалиевич Пастернак, Осип Флорович Мандельштам, Марина Марьевна Цветаева, Владимир Александрович Маяковский, Сергей Татьянович Есенин, Михаил Варварович Булгаков, Александр Таисиевич Солженицын...

Будем помнить и чтить их и такими, детьми своих матерей! Мы растем с именем матери на слуху, этим именем лепится наше чувство личности. И нельзя по-настоящему понимать и чувствовать человека, если не знаешь имени его матери. Знать о нем, что он Иван Батькович, — еще недостаточно. Это социальное знание, а персональное, интимное, дружеское, любовное — оно несет в себе запрос на имя матери.

Медиа-терапия

Медиа сообщают нам о тяжелых и катастрофических фактах в жизни человечества не для усиления нашей депрессии, а как раз для того, чтобы утешить, социально взбодрить. Вот: бушуют стихии — ураганы, наводнения, снегопады. Скандалы, сенсации, аварии. Столкнулись поезда. Гибнут люди. Под завалами отыскивают трупы и чудом выживших. А ты сидишь в уютном кресле, потягиваешь пиво или жуешь конфету и на все это смотришь отстраненно, с искренним и при этом вполне комфортным сочувствием.

Пусть тебе скучно и в твоей жизни не происходит никаких событий, ты никому не нужен и не интересен — а вот посмотри на этих нужных и востребованных. Банкира отдали под суд. Актера арестовали за наркотики. Спортсмена дисквалифицировали. Миллионер умер от рака.

Для контраста — несколько положительных или нейтральных новостей. Но отрицательные более событийны, ибо нарушают установленный порядок вещей. По Ю. Лотману: любой сюжет — революционный момент в устойчивой картине мира. Граница должна быть пересечена, чтобы возникло Событие. И так вся система подачи новостей, в которой преобладают новости отрицательные, поднимает настроение миллионам: без этой медиа-терапии они были бы от скуки и сознания бесцельности и убожества своей жизни. Может быть, СМИ заведомо на это и рассчитаны? Как во многих странах вода, поступающая по водопроводу, витаминизируется, снабжается полезными химическими добавками, так и вся информационная система содержит в себе примесь такого успокоительного *менталина*, чтобы

человечество глотало новости, и не бунтовало, и засыпало
спокойно...



Меланхолия

Меланхолия свойственна не только меланхоликам, но и людям иных темпераментов. Весенний дворик, цветущие кусты. Меланхолия сангвиника: вот-вот они завянут, и целый год придется ждать новой весны. Меланхолия холерика: через пятьдесят лет здесь будет все таким же, но уже без меня. Меланхолия флегматика: через тысячу лет ничего этого уже не будет, как и меня. Меланхолия самого меланхолика: ну вот, опять половое томление растений, жаждущих никому не нужного совокупления, ибо ничто не имеет смысла перед вечностью.

Мелочи и подробности

От жизни хочется больше подробностей и меньше мелочей. Подробность — это всегда подробность чего-то большего, а мелочь — только мелочь и есть. В близком человеке даже мелочи воспринимаются как подробности.



Мера тревожности

Бывает, что об опасности впервые узнаешь, когда она уже миновала. Например, обнаруживают и благополучно удаляют опухоль, о которой ты раньше не подозревал, а она в тебе росла и готовилась к перерождению. Одновременно испытываешь и ужас за себя прежнего, и радость за себя нынешнего. В сущности, мы должны были бы постоянно испытывать такое двойственное чувство: мы есть, а могли бы и не быть (не зачатся, не родиться, умереть в детстве, попасть вчера под автобус).

В США каждый год в автомобильных авариях погибает около 40 тысяч человек. Нельзя предсказать, кто попадет в число этих жертв, но поскольку из года в год повторяется примерно одна и та же цифра, очевидно, что здесь действует статистическая закономерность. Есть и множество других статистических вероятностей: выигрыш в лотерею, крах на рынке акций, внезапная любовь или болезнь, встреча, которая меняет жизнь... И всё это множество маловероятных событий делает твою жизнь непредсказуемой, даже если не происходит ничего особенного. Живешь, дышишь, думаешь, пишешь, разговариваешь, хотя могло быть иначе. Ведь малая величина каждой вероятности, умножаясь на число сфер, где они могли бы сбыться, превращается в большую величину — меру тревожности.

Такие скачки от действительного к возможному и обратно очень обостряют чувство жизни и делают его одновременно кризисным и праздничным. Выбивают почву из-под ног — и приучают к танцующей походке. Обошел

одну рытвину, перескочил через другую, сколько их еще
впереди! Жизнь в опасности, жизнь удалась.



Метод как безумие

"Хоть это и безумие, в нем есть свой метод" — говорит Полоний о Гамлете. Но и в каждом методе есть свое безумие. У каждого ума, властного и упорного ("упертого"), есть свой проект, свой Метод и Абсолют, а значит, и своя возможность безумия. Один из способов прочтения великих текстов — угадывание тех зачатков безумия, которые могли бы развиться в собственную систему. Безумие методичнее здравомыслия, постоянно готового на логические послабления и увертки. Безумец знает наверняка и идет напролом. По мнению Дж. Свифта, "*безумие породило все великие перевороты в государственном строе, философии и религии*" ("Сказка бочки").

Один из самых острых критиков XX века, Корней Чуковский толковал в "свифтовской" манере писателей-современников: Мережковского, Горького, Андреева, Сологуба — именно как таких *умствующих безумцев*, носителей идей-фикс. Например, Мережковский помешан на парности вещей, на идее двух бездн, верхней и нижней. А Леонид Андреев "видит в мире только какой-нибудь клочок, одну лишь пылинку, пушинку, хотя эта пылинка и становится для него Араратом, заслоняя собою и небо, и землю, и весь горизонт..." Чтобы понять писателя, Чуковскому надо его *обезумить*, гипотетически свести с ума. Пантеон тогдашних властителей дум превращается в паноптикум интеллектуальных маньяков, фанатиков одного приема или идеи.

Я не сторонник такого "сумасведения" в отношении других, но считаю полезным применять его к самому себе, особенно если твоя профессия — мыслить системно,

действовать методично. Спроси себя: как бы ты мог сойти с ума, последовательно применяя тот или иной метод? Как бы сошел с ума Гегель, отождествляя свой разум с абсолютным духом на высшей стадии его развития? Как бы сошел с ума Ницше, возмнив себя сверхчеловеком, Дионисом, Распятым..., впрочем, он и на самом деле сошел с ума. "Обезумливать себя" — это вразумлять от противного. Ум, который осознает опасность своего безумия, отчасти уже защищен от него. Иными словами, каждому интеллектуалу, производителю или распространителю идей, нужна *самокритика разума* — осознание угрозы сойти с ума на путях самого безупречного приложения собственного метода.



Мироздания

Мне мало этого мироздания. Но и ему, конечно, мало меня. Поэтому оно наполнило себя миллиардами людей и сознаний. А я в ответ наполню себя хотя бы сотней мирозданий. Это и значит: мыслить конструктивно.

Многовластие

Сводить понятие власти к политике — это все равно что сводить царство животных только к отряду хищных и игнорировать травоядных, земноводных, птиц, рыб, насекомых, т.е. 99 процентов живых существ на планете. Конечно, есть власть у президентов, полицейских и судей. Но есть власть и у врачей и учителей, у конструкторов ракет, у рыночных торговцев, у лириков и физиков, у супругов (друг над другом и над детьми) и даже у дворников, от которых зависит благополучие людей на вверенных им территориях. У языка есть огромная власть над говорящими и пишущими; у эроса — огромная власть над любящими и жаждущими любви. Своя власть есть у медицины и музыки, у религии и педагогики...

Поэтому, когда говорят о необходимом *разделении властей* в демократическом обществе, не следует сводить это к вопросу разделения только политических властей: исполнительной, законодательной и судебной. Демократическое общество *поликратично*, то есть *многовластно*. Собственно политика занимает в жизни такого общества скромное место, поскольку делит власть с наукой и техникой, языком и религией, философией и музыкой... И каждый профессионал должен заботиться о том, чтобы сфера его деятельности как можно шире простирала свою власть над людьми. Мы, филологи, должны думать о власти языка, семантики и грамматики, над сознанием и подсознанием людей, о силе риторической и поэтической, которая не подчиняется политической власти, а ей противостоит и над ней возвышается,

потому что, как сказал И. Бродский, язык древнее и могущественнее государства.

Чем больше таких властей в жизни общества, тем оно свободнее. И наоборот, когда одна из властей начинает господствовать, оттесняя все другие, это приводит к деспотизму, причем не обязательно политическому. Если религия приобретает всецелую власть над обществом, это фундаментализм; если все сводится к науке или технике, это сциентизм или технократизм; если к морали — морализм; если к искусству — эстетизм... Каждый из этих "измов" по-своему опасен, но всего опаснее политический тоталитаризм. Государство не имеет такой внутренней власти над людьми, как язык, музыка, любовь, научный разум или религиозная вера. Поэтому, как слабейшая из всех, политическая власть более всего склонна прибегать к насилию.

Молчание

Молчание обычно толкуется как отсутствие слов и противопоставляется речи. Людвиг Витгенштейн, заканчивая свой "Логико-философский трактат" известным афоризмом: "О чем невозможно *говорить*, о том следует *молчать*".

Но верно ли, что молчание и слово исключают друг друга? Парадокс в том, что сама структура витгенштейновского афоризма, параллелизм его первой и второй частей, объединяет молчание с речью и тем самым ставит под сомнение то, что хотел сказать автор. "О *чем* невозможно говорить, о *том* следует молчать". Значит, у молчания и речи есть *общий предмет*. Именно невозможность говорить о *чем-то* делает возможным молчание о *том же самом*. Разговор передает свою тему молчанию, которое и становится дальнейшей формой ее разработки, внесловесного произнесения. Разговор не просто отрицается или прекращается молчанием — он продолжается по-новому, создает возможность молчания и в свою очередь углубляется им.

Молчание следует отличать от *тишины* — беззвучия в природе. Нельзя сказать "тишина о *чем-то*" — тишина не имеет темы, она, в отличие от молчания, есть состояние бытия, а не действие, производимое субъектом и относящееся к объекту. На различении тишины и молчания построен рассказ Леонида Андреева "Молчание": после самоубийства дочери вся тишина, какая только есть в мире, превращается для ее отца-священника в молчание, которое давит и преследует его. Дочь так и не ответила на вопрос, почему же она бросилась под поезд, выбрала смерть. "Со дня похорон

в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят".

Следовательно, можно так перефразировать заключительный афоризм витгенштейновского "Трактата": *О чем невозможно говорить, о том невозможно и молчать, потому что молчать можно только о том, о чем можно и говорить.*

Мудрец

Мудрец не бракует идеи, а бракует их. Не оспаривает,
а спаривает.

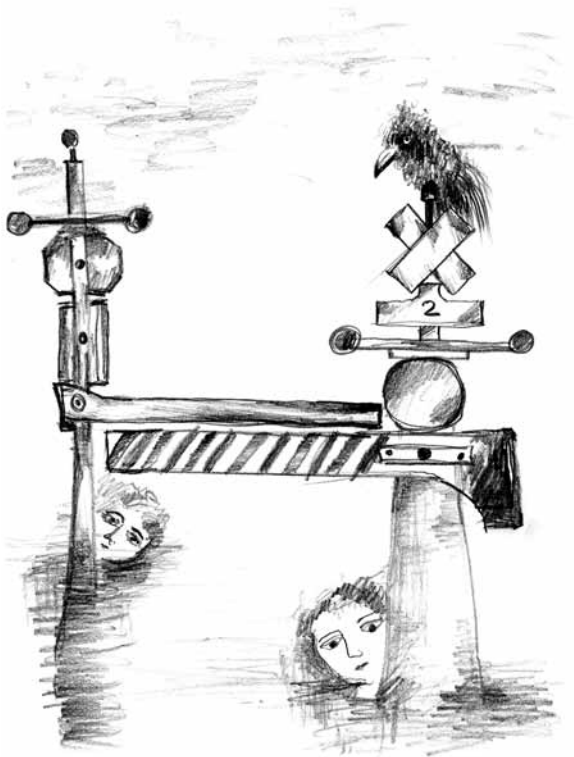


Музеи заблуждений

Заблуждениям тоже нужно ставить памятники. Они заслуживают их даже больше, чем признанные истины. Ведь и памятники ставят мертвым, а не живым. Истины и так с нами, вечно живые. А заблуждения, в которых слилось столько человеческих надежд, страстей, горений, разочарований, — где им еще быть, как не в памятниках?

Хорошо бы каждой стране возводить музеи своих заблуждений, чтобы их не забывать — и не повторять. А главное — чтобы не исчезало то, что в людях блуждало и заблуждалось: напрасная страсть. И создавать музеи общечеловеческих заблуждений: музей вечного двигателя, музей геоцентрической картины мира, музей коммунизма...





Надежда

Одни люди предпочитают наличность, другие живут в кредит. Надежда — это радость в кредит.



Настроения

Настроение — самый неуловимый элемент человеческой психики. Чувства и эмоции более или менее исследованы, поскольку они предметно направлены. Любовь и ненависть, зависть и страх обращены к конкретным лицам или вызваны определенными событиями. Но что является предметом настроения — бодрого или вялого, мечтательного или игривого, тревожного или печального? Предмет настроения — не кто-то или что-то, а Целое, Всё, Мир, включая меня самого.

По своей целостности настроения равняются лишь мировоззрению, которое больше всяких отдельных идей и концепций. По сути, мировоззрение — не что иное, как застывшее, рационально обоснованное настроение. Можно показать, что мировоззрение Шопенгауэра — это разработанное в понятиях, стройно выраженное капризно-желчное настроение, Ницше — ликующее, экстатическое, Гегеля — задумчиво-созерцательное, Кьеркегора — меланхолическое... То настроение, которое более всего свойственно индивиду и чаще всего посещает его, — оно же, постепенно пронизывая все его представления и понятия, перерастает в общее мировоззрение.

Но чем вызваны настроения, если, в отличие от эмоций, они не обусловлены конкретной ситуацией? Возможно, они выражают внутреннюю подвижность, неустойчивость личности. Известно, что человек не способен пребывать в полной физической неподвижности. Если он стоит, то при этом незаметно переносит центр тяжести с одной ноги на другую; если протягивает руку, то она тоже незаметно вибрирует

вплоть до кончиков пальцев. Человек в буквальном смысле — "тварь дрожащая". И настроение есть выражение этой вибрации, проходящей через его тело и внутренний мир.

Но именно поэтому в настроении самом по себе есть что-то стыдное, недостойное. Его подобает скрывать, как слабость, увечье. Захваченные врасплох, спрошенные в упор, даже из лучших побуждений: "Отчего ты сегодня такой грустный?" — мы испытываем неловкость, словно застигнутые за чем-то неприличным. В том-то и дело, что грусть — это всего лишь выход наружу моего внутреннего тремора и разрыв той целостности, какую я в качестве личности должен собой представлять. Люди, склонные к частой смене настроений, вызывают жалость, как те, у кого трясутся руки. Уважение может вызвать лишь сдержанность и достоинство, с каким мы удерживаем эту душевную тряску, пытаясь не поддаться диктату настроений. Давая же им волю, позволяя завладеть нами, мы воистину становимся тварями дрожащими.

Конечно, хорошее настроение лучше плохого, но еще лучше — не иметь настроений вообще, подобно тому, как лучший запах — отсутствие запаха. Душевно здоровые люди не подвластны смене настроений, не впадают попеременно в восторг, отчаяние, веселье, скуку, смешливость, слезливость... Разумеется, эти состояния свойственны всякому человеку — но у цельных людей они выражаются не как настроения, а как эмоции, соразмерные определенному явлению или ситуации. Можно испытывать скуку на скучном спектакле или восторг при чтении гениального произведения, можно кого-то любить или ненавидеть, — но это эмоции, сообразные своему предмету, а не обволакивающие мироздание в целом.

Человек с перепадами настроений похож на белку в колесе, которая, перебирая лапками, сама поддается инерции вращаемого колеса. Настроения мешают нам сознательно строить себя. По мере духовного созревания уменьшается зависимость от настроений, колебание которых сильнее всего у детей и слабее всего у святых. Превращая свои настроения в чувства, в определенное отношение к определенному, мы приобретаем равновесие и способность к внутреннему росту. Чем глубже наши чувства, тем ровнее настроение.

Нащупать брюшко

Зверь ходит по земле, обращенный к ней всем нежным и мягким: и грудью, и брюхом. Снаружи, откуда можно уязвить,— твердый хребет. Так и в растении: снаружи — кора, внутри — влага и мякоть. Так и в человеке: повернулся спиной — какой грубый! повернулся лицом — здравствуй, поговорим, что на душе? Рука сжата в кулак — идешь на встречу врагу; разжата — ласкаешь любимого.

Вот и тайна "вещи-в-себе". Ощути языком прохладную мякоть и сочность плода, пощекочи бархатные изнутри уши олененка, прикоснись к шелковистому животу ежа, когда он разжался,— и ты поймешь, из какой трепетной плоти рождается дух. Мир обращен сразу в две стороны, ввернут внутрь и вывернут наружу, и если изнутри — горячее веянье духа, а спрятанная плоть тепла и нежна, то снаружи — жесткий хребет, все поросло острой щетиной, все холодно и шершаво.

Так постарайся у каждой вещи-в-себе нащупать брюшко. Может быть, она разожмется и станет вещью-для-тебя.

Не уверен — не обгоняй

Иные мудрецы и к любви прилагают правило дорожного движения: не уверен — не обгоняй. Не обгоняй в своих чувствах партнера, если не уверен в его взаимности.

Но любовь — это именно готовность разбиться вдребезги на обгоне.

Необытие. Барельеф и горельеф

Игровые аватары человека в виртуальных мирах в принципе могут быть трехмерными, иметь человеческий рост, естественный цвет кожи, быть теплыми наощупь, воспринимать мир пятью или шестью органами чувств, то есть быть вполне правдоподобными гуманоидами. Но в них отсутствует экзистенциальный центр личности. Они похожи на барельефы, которые так и не стали статуями.

Вопрос в том, насколько мы сами человеки, а не гуманоиды. На каком-то уровне я отвечаю за себя, мыслю, чувствую, свободно передвигаюсь и принимаю решения, но внутри меня есть область несвободы. Воля и сознание упираются в какой-то тупик. Значительная часть моей жизни — это бессознательное или полусознательное скольжение по рельсам бытия, кем-то для меня проложенным. Живу ли я сам или меня "живут"? Мое бытие — полусон, череда видений и забвений, я неспособен к полному самоотчету и самоконтролю, я ощущаю свою сделанность, искусственность. Как будто аватар, почти достигший иллюзии жизнеподобия, вдруг постигает в себе кого-то не себя: ведущую его руку, опекающий разум, неодолимый автоматизм. Теперь, в эпоху виртуальных игр, нам легче соотнести себя с этими аватарами и почувствовать самих себя аватарами следующего порядка, в отношении к еще более могучему, полнобытийному автору нашей игры размером со Вселенную.

Для меня очевидно, что я еще не самостоятельное, полностью вылепленное существо, и вопрос только в том, насколько я рельефен. Горельеф — высокий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона

более чем на половину своего объема. Барельеф — низкий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объема.

Есть люди низкого рельефа, то есть малобытийные, и люди высокого, которые достигают большей свободы самобытия. Но есть ли полнобытийные?

Недолюбленность

Беда многих, что они недолюблены... Это такая свистящая дыра в каждом сердце, для заполнения которой годится все, даже пуля самоубийцы (чтобы проделать дыру в дыре). Самая безусловная любовь — родительская, но кажется, что они нас любят только за то, что мы их дети. А каждому хочется, чтоб его "за себя" полюбили, беспричинно. Но где же взять на свете столько любви, чтобы каждому досталось по потребности?

Недолюбленность — это не просто нехватка любви, это болезнь-к-любви (как у Сёрена Кьеркегора есть "болезнь-к-смерти"): боль обделенности любовью, боль одиночества, любооставленности, которая неумолимо толкает к любви — или смерти — как единственному выходу и спасению. Даже и желание славы подчас возникает как суррогат: не могу быть любимым одним, так пусть меня любят многие. Или пусть тысячеустая молва донесет меня до слуха и сердца возлюбленной. Слава может привлечь любовь — но скорее к самой славе, чем к ее обладателю, поскольку она всегда так или иначе за что-то, она — заслуженна. А любовь, если она достойна так называться, — ни за что, незаслуженный дар.

Не только мирская слава, но и религиозная вера может быть суррогатом. Человек, отчаявшись найти любовь другого человека, ищет ее у Бога. Иногда от верующих можно слышать: "Ты потому так нуждаешься в любви человеческой, что не чувствуешь Божьей. Откройся Ему и пойми: Он любит тебя". Это все равно, что проходить мимо нищего на паперти, бросая ему вместо милостыни доброе пожелание:

"Бог подаст". Никто не вправе отказывать в любви на том основании, что просящего любят Бог, нация, природа, земля, небо, Всемирный Дух...

Может быть, и все преступления, тиранства, насилия — это формы недолюбленности, поиск любви, мучительный и для ищущего, и особенно — для искомым. Если тиран ставит кого-нибудь на колени, то этим он отчаянно просит: полюби меня! За меня самого. Даже "бить" — это всего лишь нечестный и несчастный осколок слова "любить". Бьют того, кого не могут или не надеются заставить себя полюбить.

Мы ведь знаем, что, когда гневаемся, упрекаем, поднимаем скандалы в семье, обижаем и обижаемся, — за всем этим стоит только один неслышный вопль: ну, пожалуйста, полюби меня. Не нужно мне, чтоб ты мыл посуду или приносил дополнительный заработок, мне нужно только, чтобы ты любил меня. Но не могу же я так выдать свою зависимость от твоей любви и стать еще более уязвимой.

Сколько видов защитной брони только для того, чтобы скрыть — даже от самого себя! — потребность в любви, а вместе с тем обходными путями, правдой или неправдой ее добиться.

Неисполнимые заповеди

Многим новозаветным заповедям нельзя следовать напрямую. Вряд ли кому-то удалось верой сдвинуть гору. Мало кто даже из святых, спасаясь от соблазна, вырывал себе глаз или отрубал себе руку — это шаг к самоубийству, величайшему из грехов, да и вообще церковь осуждает членовредительство. В повести Л. Толстого "Отец Сергей" герой, чтобы избежать искушения прикоснуться к женщине, отрубает себе палец — но поступает так от гордыни, а не от святости.

Для чего же даны эти неисполнимые заповеди, в отличие от исполнимых ветхозаветных, Моисеевых? Не для исполнения, то есть приведения в соответствие с буквой, а для воспламенения духа, для возрастания внутренней жизни. И для смирения, сознания недостаточности своей веры. Великая вера может сдвигать горы, но не должна этим заниматься — иначе ее успешно заменил бы бульдозер.

Нельзя любить "очень"

"Я люблю тебя" гораздо сильнее по смыслу, чем "я тебя очень люблю". Почему "очень" не усиливает, а ослабляет значение глагола? Потому что любовь в самой себе содержит высшую степень своего проявления. Когда же это наивысшее отнимается у глагола "любить" и передается наречию "очень", то сама любовь оказывается заурядным чувством, измеряемым по шкале "больше — меньше". Она возрастает в количестве, но теряет качество несравнимости, исключительности. В сущности, есть только два признания: "Я тебя люблю" и "Я тебя не люблю". Таково странное свойство этого слова-оборотня "очень", которое, повышая, понижает.

Асрастие

Полное, беспросветное несчастье очищает, выталкивает за предел себя — и ставит перед необходимостью новой жизни. Это радость освобождения. Радикальная хирургия — отсечение отмершего. Половинчатое же, раздумчивое несчастье — это груз, который нельзя скинуть, ведь в нем — и половина надежды твоей. От всего полупотерянного остается половина: от любви, радости, надежды, покоя, уюта... Со всем этим, не до конца ампутированным, продолжаешь жить — и начинаешь медленно загнивать.

Нетерпение

Влюбленность — это нетерпение. Частота сокращений сердечной мышцы. Невозможно дождаться — не то что встречи, но даже знака, весточки, какого-то воздушного прикосновения от любимого. Сердце — одинокий бегун — задыхается: спринтерский забег на стайерскую дистанцию. Изю всех сил рвется к финишу, на котором его, как правило, никто и не ждет.

Ничего

Кажется, только в русском языке слово "ничего" означает похвалу. "А она очень даже ничего!" "Ничего себе домик — да это целый дворец!" "Как живешь? — Ничего". Сказать "хорошо" русский язык стесняется, может быть, из суеверия. Если за точку отсчета взять минус, то и ноль — грандиозная удача. Сравните с английским "nothing" — и сразу бросится в глаза разность двух языков и миров. В одном ничего — это только отсутствие чего-то, в другом — почти всё.

Новая архаика

Книга постепенно становится архаическим объектом. Ее бумажно-пыльный запах, желтеющие страницы, сама ее материальность — признаки исчезающей цивилизации. Ходишь среди библиотечных стеллажей — и чувствуешь себя как будто в Средневековье. В жанре книги еще можно создавать раритеты, произведения книжного искусства, но цивилизация уже двинулась дальше. Глаза привыкли к пространству экрана, к бисерной россыпи электронных букв. Книжные шкафы, ряды корешков с тисненными заглавиями, — все это реликтовый слой, вроде бабушкиных сундуков или старинной мебели, — предмет будущих археологических раскопок...

Не станет ли со временем архаическим объектом и само тело? Его будут передавать по электронным сетям с терминала на терминал в виде генетической формулы. В нашей цивилизации книга родственна телу, соприродна ему, поскольку некая информация — генетическая или языковая — занимает место в пространстве, обладает плотностью, инертностью, непроницаемостью для других тел. Но если информация вычитывается-вычитается из плоти книги и начинает странствовать в виде кодовых матриц или электронных пучков, перебегая с экрана на экран, то и тело, такой же трехмерный пространственный объект, как и книга, воспринимается уже как пережиток прошлого. С постепенным исчезновением книги начнет исчезать и тело...

Американцам, наиболее продвинутым по части электронной коммуникации, психологически все труднее вступать в физический контакт друг с другом. В самом жесте

прикосновения чувствуется его архаичность, неадекватность той знаковой субстанции, какую люди собой представляют в информационном обществе. Они становятся все менее телесными, утрачивают ощущение боли. Вместо уязвимых органов — протезы, транспланты; вместо удовольствия — здоровый образ жизни... Прикоснуться к другому человеку в знаковом обществе — все равно как читать книгу, шевеля губами и водя пальцем по строчкам.



Новый Элизиум

Согласно греческому мифу о царстве блаженных и бессмертных, там каждый встретится со своей прошлой жизнью, с любимыми и друзьями, войдет в прежний свой дом и в круг знакомых вещей. Нынешний уровень развития информационных технологий вплотную подводит нас к возможности Элизиума как голографического континуума, где жизнь человека, протекавшая во времени, повторяется заново уже в пространстве, точнее, во вневременной и внепространственной развертке цифрового бессмертия. Электронный Элизиум, E-lysium.

Можно предположить, что в человека встроено какое-то устройство, "антивремя", которое записывает всё, что с ним происходит на протяжении всей жизни, вплоть до мельчайших деталей. Иначе ход времени не вызывал бы у нас такого упорного сопротивления. Что-то отчаянно цепляется в нас за уходящее, словно действует противовес падению в небытие.

У Дилана Томаса есть стихотворение "Do not go gentle into that good night":

Не исчезай смиренно в ночной тиши.
Пусть старость вопиет на склоне дней.
Встань, не дай померкнуть свету!

Вот этот бунт против угасания жизни, не только перед лицом смерти, но и на исходе каждого дня, каждого уходящего мига, живет в каждой душе, пусть и неосознанно. Какая сила противится времени, если не это таинственное антивремя внутри нас? И это не просто бессильный про-

тест. Днем и ночью неслышно жужжит невидимая камера, записывая нашу жизнь, все то, что отпечатывается у нас в мозгу, все мыслимое, видимое, слышимое, осязаемое... По вычислениям ученых, объем такой записи, охватывающей весь срок человеческого существования, составляет от нескольких десятков до нескольких сот терабайтов, что уже доступно современным хранителям электронной информации. Так же, как мы сейчас можем зафиксировать каждый свой шаг на видеокамеру, так возможно в принципе и записать все происходящее в нашем мозгу, все сигналы, которыми обмениваются нейроны, — многоканальная и многомедийная, полнообъемная запись всего содержания жизни.

Речь не только о будущем. Развитие современной техники подсказывает, что такая запись могла бы вестись в прошлом, что она ведется испокон веков, встроенная в нас той же самой природной биоинженерией, что создала и наши гены. Наше бытие протекает во времени и вместе с тем вне времени, создавая неуничтожимый образ самого себя. И когда человек умирает, то заново вступает в свою жизнь, след в след, лицом к лицу со своим прошлым, но уже в ином, сверхвременном измерении.

В тот Элизий, где всё тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови...

К. Батюшков

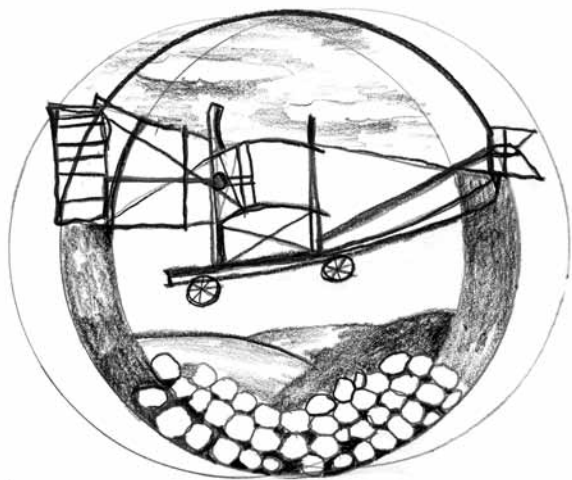
А вот свидетельство Юрия Лотмана, который оставался человеком трезвейшего ума и тогда, когда оказался на больничной койке:

"В практическом быту я прекрасно понимал, что такое время, но одновременно жил в мире, в котором я сам и все люди, которые когда-либо пересекались с моей жизнью..., существовали одновременно и вне времени, как бы высвечиваемы в разных частях одного пространства. Например, отец был одновременно во всех возрастах и существовал сейчас. То же — и о всех других людях... В этом мире ничто не исчезало, а только уходило в область неясного зрения и вновь выходило из нее".

(Письмо Б. Егорову, 3 сентября 1989)

Но обязательно ли ждать болезни и смерти, чтобы войти в Элизиум? Нельзя ли встроить его в жизнь? Если Э-лизиум, мыслетворный и рукотворный, окажется возможным, то он станет третьей ступенью развития человечества, после природы и цивилизации. При этом последующая ступень не упраздняет предыдущую, но вбирает ее. В цивилизации человек не утрачивает свое физическое тело; точно так же и в Э-лизиум он отправится во всеоружии всех средств цивилизации, всей новейшей техники "иммортализации". Но как цивилизация несводима к природе, так и Э-лизиум несводим к цивилизации, а образует новый мир "технического потусторонья", "цветущей старины", где, возможно, нам предстоит встретиться с предками, а нашим потомкам — с нами.





Обнадеживающий урод

В генетике и теории эволюции есть понятие — "обнадеживающий урод". Оно обозначает результат системной мутации организмов, которые отклоняются в своем строении от нормальных. Обычно такие мутации разрушительны и смертельны, но в редчайших случаях могут дать начало новым видам.

Не исключено, что эволюционные скачки могут происходить не только в животных, но и в человеческих популяциях, и тогда понятие "обнадеживающего урода" применимо к этносам и культурам. Социальная эволюция может происходить путем накопления мелких мутаций, едва заметных изменений в строении общественного организма. Революции же можно сравнить с макромутациями, которые делают возможным развитие совершенно новых форм — видов, родов, семейств, отрядов.

Механизм чрезвычайно рискованных макромутаций, с минимальным, почти "чудесным" шансом на выживание, давно запущен в России и может объяснить не только ее нынешнее состояние, но и ее "революционные" традиции, даже фольклор, где выразилось парадоксальное самосознание народа. "Обнадеживающий урод" — глубинный российский архетип, сказочный Иван-дурак, плошавший перед умными старшими братьями, но потом чудом ("глупой случайностью") отхвативший себе царскую дочку и полцарства в придачу. Есть в русских сказках и прямой биоморфный образ макромутации: болотная лягушка обращивается прекрасной царевной Василисой Премудрой.

Если вернуться от сказки к реальности, то стоит вспомнить, что птицы, как один из классов позвоночных, образовались, скорее всего, в результате внезапной системной мутации. Как заключает немецкий палеонтолог Отто Шиндевольф, "искать переходные формы бесполезно, потому что их и не было: первая птица вылупилась из яйца рептилии". Ошибка (мутация) в генетическом коде динозавра — и вот перед нами птица, урод, если взглянуть на нее глазами рептилий, — совокупность многих аномальных признаков: клюва, перьев, крыльев и т.п. Гадкий динозаврик... А птицы, тем не менее, оказались не просто обнадеживающими, но и прекрасными "уродами", вдохновляющими поэтов и вызывающими ассоциацию с ангелами.

Сам человек, по оценке современной теории, тоже возник в результате эволюционного разрыва и скачка, как обнадеживающий урод царства приматов — гадкая обезьянка. По словам биолога Л.И. Корочкина, "организация человека уродлива по сравнению с его предками: таковы, например, анатомические особенности, связанные с вертикальным положением тела, отсутствие хвоста, волосяного покрова и т.д.". Поэтому не только обезьяны кажутся уродливыми человеку, — в такой же мере и он должен выглядеть уродливо-нелепым в их глазах: бесшерстый, бесхвостый, опирающийся на две конечности... Взгляд приматов более объективен, ведь они были нормой тогда, когда человек был еще только аномалией.

Обращение - глагол

Часто сетуют, что в современном языке исчезли приличные формы обращения. Раньше были: "господин" и "госпожа", "сударь" и "сударыня". Потом "гражданин", "гражданка" и для обоих полов — "товарищ". Теперь и вовсе не осталось благовоспитанных форм. Для определенного возраста есть "девушка" и "молодой человек". А для всех других — только хамоватое, голо-половое "мужчина" и "женщина".

На самом деле, в современном языке универсальное обращение к незнакомым есть, только оно выражено не существительным, а глаголом: "извините!" или "простите!" А дальше уже — все, что угодно, включая и то, за что вроде и нечего извиняться: "Простите, вы выходите?" "Извините, у вас нет лишнего билетика?" "Прошу прощения, могу я вам чем-то помочь?" Такова социолингвистическая функция этих глаголов. То же самое, кстати, происходит и в английском: "сэры", "мистеры", "мисс" и "миссис" практически исчезают из живой речи, а унисексной формой обращения становятся "sorry" и "excuse me".

Чем объясняется эта эволюция форм обращения: от существительного к глаголу? Раньше важно было обозначить статус другого лица как господина или (го) сударя. А теперь важно извиниться за сам факт обращения к незнакомому лицу, кем бы оно ни было. Я тревожу его, отвлекаю от дел, от мыслей — поэтому прежде всего следует извиниться, даже если извиняться не за что. Иными словами, обращение вместо статусного становится ситуативным, и поэтому вместо существительного выражается глаголом. С уравнием социальных статусов на первый план вышло само событие

обращения как перехода межличностной границы. Форма адреса утратила значимость, потому что само общество перешло из "твердого" состояния в "текучее". Социальность — это не титул, не субстанция, а интеракция. Важно не к кому я обращаюсь, а что между нами происходит.

Огромные пчелы

Исторические новости о первом пилотируемом полете братьев Райт были впервые опубликованы в журнале "Вестник культуры пчел" ("Gleanings in Bee Culture", 1 января 1905 г.), в разделе "У нас дома", среди таких статей, как "Оценка меда на ярмарках" и "Как ухаживать за пчелиным роем". Можно было подумать, что значение авиации, в первую очередь, состоит в опылении растений на больших площадях, недоступных обычным пчелам. Для величайших изобретений нет готового места в общественном сознании, они сами его себе создают.

Отделение веры от церкви

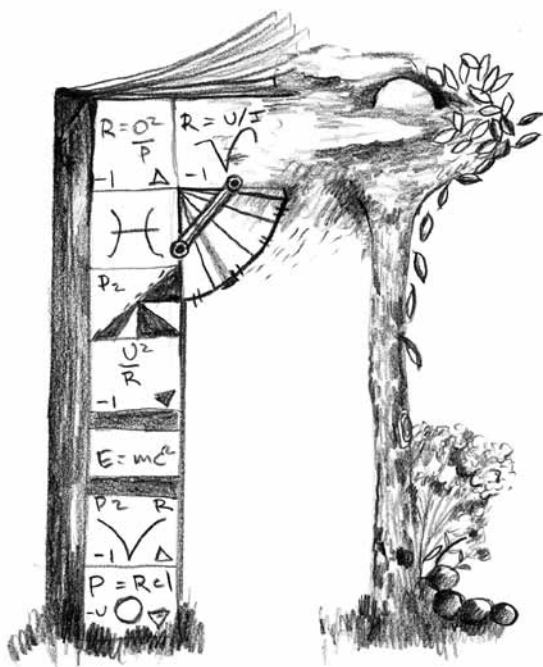
Если церковь не может или не хочет отделиться от государства, тогда вере остается только отделиться от церкви. Так образуется "бедная религия" — без обрядов, без уставов, без догматов, без икон, с одним только Богом. Но вере больше и не нужно, чтобы оставаться верой.

Отпущение как приел

Бывает так: чего-то горячо желаешь, молишься, просишь Всевышнего о какой-то милости. А сверху не отвечают, желаемого не происходит. И тогда постепенно отпускаешь это желание — оно куда-то уходит, забывается. Начинаешь жить чем-то другим. И вдруг оно так или иначе исполняется. Надо было отпустить желанное от себя, чтобы оно само пришло к тебе, чтобы не ты взял, а тебе было дано. Когда ты готов принять вышнюю волю, тогда и Он готов исполнить твою или, во всяком случае, как-то на нее отозваться.

Это похоже на процесс творчества. Сначала бьешься над какой-то идеей, пытаешься ее воплотить, или найти какой-то закон, поймать ускользающую мелодию. И все напрасно, нужные слова не приходят, периодическая таблица не складывается, формула не работает. И тогда от невозможности переходишь на что-то другое. Или предаешься отдыху, беспамятству, суетной жизни. Проходят дни, месяцы, иногда годы. И вдруг нечаянно, в случайном месте приходит оно, то самое. Или во сне, как таблица Менделееву. Вдруг вспыхивает так ясно, что удивляешься — как же я раньше этого не видел, не сознавал?

В творческом поиске важно выполнить два условия. Во-первых, всего себя в него вложить, идти на все новые и новые, пусть и безуспешные попытки. Во-вторых, когда натолкнешься на какой-то предел усилиям, — отступить, отпустить на волю ту задачу, над которой ты так долго бился. Нужно сильно просить — но не навязываться вышней воле, не подменять ее собой. Два условия: собственное усилие — и, на пределе, признание своего бессилия. "Да будет воля Твоя, не моя".



Парадоксы информации

По вычислениям математиков, один сперматозоид содержит в себе 37,5 мегабайтов генетической информации, а одно семяизвержение — порядка 15 тысяч гигабайтов (15 терабайтов), что примерно равно мощности 100 ноутбуков. И все это ради одного шанса из миллионов на сотворение новой жизни. Тогда как мысле- и словоизвержение даже таких титанов, как Гете или Толстой — творчество всей их жизни — содержит в себе не более 20–30 гигабайтов, т.е. легко уместится на маленькую флешку. Сколько же нам еще гнаться за природой в безуспешной попытке превзойти ее своей мыслью и словом?

С другой стороны, результатом извержения 15 тысяч гигабайтов может быть всего лишь один использованный презерватив, а информация размером всего в 30 килобайтов может оказаться библейской заповедью (именно столько весит файл со словами "не убий").

Пасть и горло

В Атланте (США) — самый большой в мире аквариум. Особенно поражают в нем китовые акулы, длиной семь–восемь метров. Плавают среди общей рыбной мелюзги и никого не глотают, хотя пасть у них может легко вместить даже человека. Зато, оказывается, горло такое узкое, что может пропустить только 25-центовую монету, поэтому питаются они мелкими морскими травками и устрицами. Вот какая драма! Есть и в человеке подобное несоответствие: между широкой пастью замысла и узким горлом дарования.

Педанты, таланты, дилетанты

В любой области есть три категории деятелей: педанты, таланты, дилетанты. Преобладают и образуют ядро любой профессии педанты, то есть грамотные середняки, носители стандарта. Они противостоят, с одной стороны, недостаточно грамотным — дилетантам, с другой, слишком нестандартным — талантам. Причем под предлогом защиты от дилетантов педанты направляют свой удар именно против талантов, гораздо более для них опасных. Любая научная дисциплина — это диктатура педантов над талантами; это утверждение такой методологии, которая исключает "неточность" — а значит, и прорыв.

Пережить Достоевского

Каждый раз, достигая возраста, в котором умер какой-то писатель или мыслитель, мне внутренне близкий, я как бы переступаю новый порог ответственности. Словно он проводил меня до очередной развилки, попрощался и ушел, и теперь я должен продолжать путь в сопровождении других спутников, но их число с каждой развилкой редет. Конечно, гений не ограничен возрастом, и Лермонтов в 27 понимал то, что многие не поймут, и дожив до 100. И все-таки у каждого возраста есть свой объем и качество пережитого и передуманного, и в зрелости уже нельзя жить на том духовном рационе, который питает юношу, пусть и гениального. Поэтому, сравниваясь в возрасте с Чеховым, Вл. Соловьевым, Достоевским, я слышу как будто щелчок пружины, выталкивающей меня в пустоту новообретенной свободы и одиночества. Ну вот, теперь мне придется самому прокладывать путь в неизвестное, уже без них, ведущих и впередсмотрящих.

Мамки о зачатии!

Можно ведь и так взглянуть на людей: все они — сделавшие карьеру сперматозоиды. Хвостиками выгребли себя в стремнину жизни. И даже последний бомж со слезящимися глазами — тоже везунчик, проложивший себе путь из тьмы на светло-воздушную поверхность бытия. Подсуетился — и обогнал всех других, первым достиг заветной клетки. По сути у этого бомжа общий на 99 процентов удел с господами в элегантных костюмах, пирующими в дорогих ресторанах. Он дышит тем же воздухом, ходит по той же земле, пьет ту же воду, в жилах у него такая же кровь. Он тоже бывший сперматозоид, попавший в высшее общество ходящих, едящих, глядящих, ковыряющих в носу, — в отличие от миллиардов своих собратьев, так и оставшихся безносыми, безглазыми, безногими...

И значит, ему есть что праздновать! Да здравствует то, что привело его на этот свет! Да здравствуют эти милые уловки, подмигивающие глазки, нежные ручки, душистые шейки, влажные язычки! — все, все, что слово за слово, поцелуй за поцелуем, объятие за объятием, привело бродягу в этот мир, сделало его возможным и воплощенным. Пусть он бродит не только как бомж — пусть бродит как вино, пусть радуется и пенится теми пузырьками желания, один из которых в нем самом стал плотью и кровью! Ведь каждый из нас, живущих, обязан своим бытием честному исполнению величайшей заповеди, данной человеку еще до грехопадения: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю..." Будем почитать своих родителей, ибо они эту заповедь соблюли. Будем бережны к себе, чтобы и в нас не угас родительский огонь. *Memento conceptionis!*

Манифации и прощение

Обидно, когда тебя прощают, не понимая.

Страшно, когда тебя понимают — и не прощают.

Поступок и происшествие

В жизни человека можно выделить три типа событий. События, которые свершаются с ним по его собственной воле, в силу принятых им решений, могут быть названы *поступками*, ибо они задаются самим субъектом действия. Так, например, человек выбирает себе профессию, или определяет свою позицию в политической борьбе... Область событий-поступков изучается науками о человеческом поведении, его побудительных мотивах и общезначимых критериях психологией и этикой.

Вторая категория событий, прямо противоположная первой, включает *происшествия*, то есть события, в которых человек является не субъектом, но как бы объектом чуждой воли, жертвой некоего сверхличного стечения обстоятельств. К такого рода происшествиям относятся аварии, эпидемии, катастрофы, стихийные бедствия, выигрыши в лотерею... Эти события управляются игрой случая, хотя и в них можно отыскать определенную закономерность — статистического, сверхиндивидуального порядка. Область событий-происшествий изучается статистикой, математической теорией вероятностей, а также новейшими комплексными теориями хаоса и сложности.

Наконец, третья категория событий представляет наибольший интерес. Это события, свершающиеся не по воле отдельного человека, но и не по воле случая, а в силу определенной закономерности, с какой поступки человека ведут к определенным *происшествиям* в его жизни. События такого типа можно называть *свершениями* — в них как бы завершается то или иное действие, начатое человеком

по собственной воле, но затем вышедшее из-под его ведома и контроля. *В свершениях то, что свершает сам человек, затем совершается с ним самим.*

Приведу простые примеры из классической литературы. Девушка влюбляется в молодого человека, но он пренебрегает ею, желая сохранить свободу, — когда же эта свобода становится ему постыла, он влюбляется в ту, которой когда-то пренебрег, но она уже принадлежит другому. Эта сюжетная схема "Евгения Онегина" — образчик работы судьбы, которая превращает героев в объекты их собственных действий.

Другой пример: поручик Вулич благополучно испытывает свою судьбу, играя в русскую рулетку; но, уцелев после осечки, он через полчаса погибает, подвернувшись под саблю пьяному казаку. В "Фаталисте" Лермонтова сама готовность героя ставить свою жизнь на кон вызывает ответное действие случая, который тем самым становится уже не совсем случайным.

В этих двух классических примерах мы имеем дело с третьим разрядом событий — свершениями. Они отличаются от поступков и происшествий самозамкнутостью: содержат в себе собственное начало и конец.

Поступки и происшествия — это тоже по глубинной сути своей свершения, только с затерянными началами и концами. Поступок — свершение с неясным концом, а происшествие — с неясным началом.

Поэзия и наука

Считается, что наука описывает вещи "как они есть в действительности", а поэзия фантазирует, все смещает, преломляет. Не вернее ли — наоборот: наука докапывается до невидимого, неизвестного, подчас отдаленного от осязаемой реальности (микромир, частицы, античастицы, вакуум, темная материя...), тогда как поэзия раскрывает бытие сообразно человеческой мере его постижения: в явлениях наблюдаемых, в событиях переживаемых. "Открылась бездна звезд полна; Звездам числа нет, бездне дна". "Звезда с звездой говорит". "Душа хотела б быть звездой". "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?" Здесь "звезда" — метафора, но для восприятия она гораздо достовернее, чем понятие звезды в астрофизике: "газовый (плазменный) шар, образующийся из газовой-пылевой среды (главным образом, из водорода и гелия)". Водород, гелий, плазма — какие абстракции! Кто их видел или осязал? Наука рассуждает о черных дырах и спиральных ДНК, и притом определяет их весьма условно ("черные дыры" вовсе не черные и не дыры), тогда как поэзия являет вещи в их наглядности, соразмерности с человеческим взглядом.

Получается, что поэзия научнее, то есть достовернее науки, а наука поэтичнее, то есть фантастичнее поэзии. Одни только научные термины чего стоят: *созвездие, водород, притяжение, маятник!* И ввел их в науку поэтический гений Ломоносова.

Предвкушение и послевкусие

Послевкусие того или иного опыта может сильно отличаться от его вкуса. Сладкое начинает со временем горчить, терпкое становится пресным. Вкус распускается во рту и меняет свои оттенки, как фейерверк. Белые огни в воздухе превращаются в красные, опадают зелеными. Вот так и время производит перемену в прежних ощущениях. Пржнее счастье наполняется горечью, прежняя печаль наполняется теплом и светом. "Что пройдет, то будет мило". Вкус проходит, остается послевкусие.

В юности мы с удивлением узнаем, что предвкушение, хотя оно только "пред", как правило, острее самого вкуса. Обольщения блекнут, опыт разочаровывает в сравнении с ожиданием. В зрелости мы учимся отличать вкус от послевкусия, и оно тоже оказывается сильнее. Только оно и остается. По сути, вся жизнь, если распробовать ее на вкус, состоит из предвкушений и послевкусий, а самого вкуса в ней очень мало.

Прогибчивая страна

Иные называют ее гибельной, а может быть, она просто прогибчивая? Чем больше лист железа, тем легче он прогибается в обе стороны. Так же прогибчива и самая большая на свете страна. Вера — безбожие, духовность — дикость, материализм — идеализм, коллективизм — индивидуализм, тоталитаризм — анархизм, покорность — бунт... В обе стороны прогибается и только поэтому остается собой.

Кротчайшие

Из всего круга идей меня привлекают наименее очевидные — и я прилагаю к их обоснованию наибольшую силу логической последовательности, мне доступной. В этом для меня есть не только научный, но и моральный смысл: любовь к малым сим, то есть к наименьшим величинам в области умозрения, стремление их защитить перед лицом более сильных, самоочевидных, всеокрушающих истин. Этот риторический прием восходит еще к Протагору: выступить в поддержку самых слабых позиций, найти для них сильнейшие аргументы.

Для меня это не софистика, не игра ума, но следование одной из заповедей: "блаженны кроткие, ибо они наследуют землю". Есть кроткие, мало заметные, пренебрегаемые идеи или эмбрионы идей, которые нуждаются в нашем внимании и интеллектуальной заботе. В мире много не только маленьких людей, но и маленьких идей, и мы за них в ответе. Возможно, когда-нибудь они унаследуют землю. Отверженные, невероятные идеи, вроде той, что параллельные линии пересекаются, сотни лет пребывают в тени, чтобы потом осветить путь науке. Самые значительные успехи современной физики и математики во многом обусловлены как раз развитием этой "нишей" идеи, отвергнутой Евклидом, но впоследствии изменившей наше представление о кривизне пространства.

И разве абсурднейшая мысль о том, что Бог становится человеком и приносит себя в жертву за грехи человечества, не легла в основу западной цивилизации? Камень, отвергнутый строителями, лег во главу угла — эта притча имеет

не только теологический, но и методологический смысл. Именно за наименее очевидными идеями — наибольшее будущее, поскольку научная картина мира время от времени взрывается, ереси становятся догмами и в качестве таковых снова ниспровергаются.

Развивая самые уязвимые идеи и предельно их усиливая, я одновременно стараюсь не навязывать их читателю. Я не хочу, чтобы моими усилиями идея-пария превращалась в идею-деспота. Деспотизм индивидов не так опасен, как деспотизм идей, жертвами которого могут оказаться миллионы людей. Идеи должны оставаться краткими не только в своем истоке, но и в итоге всей аргументации — не поработать сознания читателя. "Я пишу не для того, чтобы быть правой", — заметила Гертруда Стайн.

Больше всего я боюсь собственной одержимости какой-нибудь идеей, неистового внедрения ее в чей-то мозг, магии повтора и заклинания. Разумеется, как автор я заинтересован в том, чтобы читатель согласился со мною, но мне также хочется, чтобы он не поддался гипнозу той идеи, которую я пытаюсь до него донести. При этом я вступаю в противоречие с собой. Но там, где есть мысль, есть место и для *противомыслия*.

Обычно считается, что задача пишущего — внушить читателю свое представление о мире. Для себя я определяю эту задачу иначе: вызвать эффект *согласия-несогласия, мыслительный катарсис* (по аналогии с тем эмоциональным катарсисом, в котором Аристотель видит цель трагедии). Читатель вдруг постигает, что можно думать по-разному, что *мысль содержит внутри себя противомыслие*, и этим раздвигается сама сфера мышления.

Даже у крупнейших философов можно найти такие противоречия, которые вроде бы раскалывают их систему и становятся объектом постоянной критики. У Гегеля Абсолютная Идея, непрерывно развиваясь, вместе с тем приходит к полному самопознанию, а следовательно, к самотождеству, в его собственной философской системе. Маркс доказывает, что все исторические движения определяются материальным базисом — и вместе с тем, вопреки своему экономическому детерминизму, призывает к объединению рабочих и к коммунистической революции. Бахтин утверждает, что в полифоническом романе голоса персонажей звучат независимо от воли автора, хотя и проистекают из его целостного художественного замысла. Именно такие "противомыслия", наиболее уязвимые для рациональной критики, и оказываются "дуговой растяжкой" теории, производят катарсис, очищая нашу мысль от односторонностей.

Июль в Кремле

Можно вот сейчас, сидя за компьютером, предметно представить себе ад и рай как два способа переживания вечности. Стучать по клавишам компьютера непереносимо, если это только физическое упражнение. Какая-нибудь статья в 10 страниц — это 25 тысяч букв-ударов! Каторжный труд, стирающий человека в порошок:

чбнннийгфдрртфгтыгчгйуучйыччгтфтггчыййк

Даже строчки не допечатал — и уже изнемог. А между тем, подхваченный мыслью и замыслом, не замечаешь усилий, и время словно сворачивается. Десять страниц, если они продиктованы вдохновением, — как одно мгновение. Хотя и движения пальцев, и клавиши те же самые. Может быть, вечность — это столь осмысленное времяпрепровождение, что само время исчезает? Тягостное ощущение времени — от нехватки смысла?

Пятна на Солнце

Безупречен ли пушкинский вкус? Далеко не всегда, даже в лучших его созданиях. Например, в стихотворении "Из Пиндемонти" (1836) предпоследняя строка откровенно слаба:

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Тут одно расплывчатое эмоциональное слово с размаху накладывается на другое и создает жирное смысловое пятно, лохматую кляксу. *Умиление восторженное, а восторг радостный*, и все это вместе *трепещет*. Прямо школьнический пафос: побольше сильных слов ("потрясающее величие сверхмогучего гения Пушкина"). Видимо, сам автор почувствовал это избыточность и оборвал стихотворение на середине следующей строки, правда, не удержавшись напоследок налепить на *радостно* еще и *счастье*.

Вот счастье! Вот права...

Было бы интересно составить "антилогию" — собрание самых слабых строк русской классики. Какие бы образы в нее вошли? Встречались ли вам пятнышки в наследии самых-самых блестящих? Не для глумления — упаси Боже — а для остранения привычного, в чем и состоит смысл и искусства, и его восприятия. Смотреть на пятна полезно хотя бы для того, чтобы восстановить остроту зрения, утомленного Солнцем. Собрание это так и можно было бы назвать: "Пятна на Солнце: Антилогия русской классики".





Радость и счастье — антонимы?

В чем разница между счастьем и радостью? В словарях счастье определяется как "чувство глубокого довольства и радости". Но в более глубоком смысле эти слова не только не синонимы, но почти антонимы. Счастье устойчиво, радость порывиста. Счастье оседло, а радость кочевна, приходит и уходит, дышит, где хочет. Отсюда тянется нить к Шопенгауэру, который учил о том, что вовсе не счастье, а страдание — удел человека, и поэтому ему дана одна только радость — избавление от страдания. А от Шопенгауэра — к Евангелию, где ничего не говорится о счастье (буквально, *ни единого слова*), но много говорится о радости. "Да радость Моя в вас пребудет", "да радость ваша будет совершенна", "но печаль ваша в радость будет", "радуйтесь радостью неизреченною", "Царство Божие радости во Святом Духе", "плод же Духа: любовь, радость"... Есть и особый иконописный сюжет — "Нечаянная радость", где юноша вопреки своим грехам прощен Богородицей. В радости всегда есть привкус нечаянности, даже незаслуженности, какой-то исключительности. Вот почему "радость" — слово евангельское, а "счастье" — совсем не евангельское, да и во всем русском переводе Библии оно употребляется только в "Книге Иова", о самом несчастном из людей, и говорится там не о самом счастье, а об его утрате: "не устоит счастье его", "счастье мое унеслось, как облако".

Счастье — это уклад жизни, а радость — это веяние духа. "Счастье" противоречит библейскому миропониманию, а "радость" его воплощает.

Разговорные миры

У каждой личности — свой устный текст, который даже характернее письменного. Например, Р. больше всего говорит о несправедливости, о том, как ее подавляют, преследуют, делают гадости и подлости. П. говорит о своих встречах и беседах со знаменитыми людьми, о своих трудах и отзывах на них. Н. рассказывает, как все его любят и приглашают к себе, включая Папу Римского. Его королевское величество А. говорит в основном о преданиях своей семьи. У каждого — своя тема и набор сюжетов.

Текст может меняться в зависимости от собеседника. Я допускаю, что такой "обидчивый" и "жалующийся" текст сложился у Р. именно со мной, и адресат играет не меньшую роль, чем сам автор. Скажем, с Б. мы ходим всегда по одному и тому же кругу тем: семейные, медицинские, политические... Г. всегда рассказывает о том, кто что пишет и публикует, но, возможно, с другими он говорит о другом, например, о женщинах или компьютерах. У каждого есть своя нить, основа, по которой снует челнок разговора; но и тот, кто натягивает нить с другой стороны, тоже причастен к словоплетению.

Вообще интересный и малоизученный предмет — *разговороведение*. Удивительно, насколько люди верны себе, и встречаясь даже после 10-летней разлуки, продолжают все тот же разговор, будто прерванный только вчера.

Разум и мудрость

Допустим, ученым удастся создать искусственный мозг, всезнающий, глобально мыслящий, мгновенно просчитывающий все варианты. Можно ли наделить такой всеведущий ум мудростью? Или мудрость — это свойство только того разума, который ограничен условиями своего бытия в пространстве и времени? Мудрость — это способ соотнести свое частное со вселенским: вместить в себя вселенское и одновременно осознать свою телесность и смертность. Стать человеком мира, мысленно охватить вселенную — и смириться, постичь свою малость и бренность. Мудрость — это устремленность к беспредельному, наряду с осознанием своих пределов. Нужна ли мудрость безграничному разуму?

Реальное и возможное

XX век продемонстрировал две основные модели развития. Первая, революционная, — это модель "реализации возможностей", то есть сужения их до одной, желательной и обязательной реальности. При этом одни возможности отсекаются и приносятся в жертву другим.

В основе второй модели — развитие не от возможного к реальному, а от реального к возможному. Здесь можно указать на такие явления современной цивилизации, как системы кредита и страхования, которые переводят повседневную жизнь в сослагательное наклонение. Я живу на средства, которые *мог бы* заработать: это кредит. Я плачу за услуги, в которых *мог бы* нуждаться: это страховка. Кредит и страхование — две соотносительные формы возможного. В кредите мне оплачивают возможные формы благополучия: дом, машину, компьютер и пр. Страховкой я заранее оплачиваю свои возможные несчастья: аварию, безработицу, болезнь, увечье, скоропостижную смерть. Но и положительные, и отрицательные стороны жизни оказываются сплошь условными с точки зрения экономики, которая основана на статистике, подсчете вероятностей, а не на единичных фактах. Я имею не то, что имею, а то, что *мог бы* иметь, *если бы...* (в эти скобки можно поместить все обстоятельства жизни: устройство на работу или увольнение, женитьбу или развод и т.д.). Кредитные и страховые компании как раз и заняты тем, что в точности рассчитывают все вероятности моей жизни, исходя из достигнутого благосостояния, возраста, образования, — и уже имеют дело не со мной, а с проекциями моих возможностей.

Современный Запад — общество возможностей в том смысле, что они составляют его экономическую основу и вплетены в ткань повседневности. Ничто не существует просто так, в изъяснительном наклонении, но все скользит по грани "если бы", одна возможность приоткрывает другую, и вся реальность представляет собой цепную реакцию возможностей, которые сами по себе редко реализуются.

Нет лучшего способа оживить вкус к жизни, чем взглянуть на нее под углом возможного. Отчего нас так завораживает колеблющееся пламя, кипение морских вод или пушинка, кружащаяся в воздухе, — хочется следить, не отрываясь? Таково зримое бытие возможного. "Приедается всё. Лишь тебе не дано примелькаться", — обращается Борис Пастернак к морю ("Волны"). Вероятности очерчиваются на графиках колебательно, волнообразно, — и сами волны есть контуры вероятностей, с особой синусоидой движения каждой капли. Смотреть на море, на огонь, на качание древесных крон и колыхание травы в поле, — в этом есть огромный интерес для души, потому что она приобщается к родной для нее стихии вероятностного существования.

Эти же волны возможного бегут через все области мироздания: от квантовых микрообъектов (частиц-волн) до таких составляющих религиозного опыта, как вера, надежда, любовь. Самые сильные переживания человека связаны именно с областью возможного, с ожидаемым, предчувствуемым, замышляемым. Человек живет возможным, это его естественная среда. От камня к дереву, от дерева к животному, от животного к человеку возрастает степень возможного в его отношении с наличным бытием. Повидимому, общество в своем развитии от деспотизма к де-

мократии, к "цивилизации возможностей", также следует этому вектору.

Лучший из возможных миров — тот, что еще только возможен; точнее, это мир самих возможностей.

Ревность — вечный двигатель

Ревность, как тема, продуктивна для искусства и литературы даже более, чем любовь. Любовь затрагивает двоих, а ревность — троих и позволяет сюжетно связать больше персонажей. Мотив ревности лежит в основе "Илиады", "Короля Лира", "Отелло", "Вертера", "Красного и черного", "Евгения Онегина", "Братьев Карамазовых", "Анны Карениной"... Суть ревности в том, что она превращает любовь в ее противоположность. Любовь, ведущая к слиянию и счастью, быстро исчерпывает сюжет. Но чем больше любви, тем больше и вражды, порождаемой той же любовью. Не любовь Отелло к Дездемоне движет шекспировский сюжет, а его ревность к Яго. Тем самым ревность оказывается мощным двигателем страстей: симпатия превращается в антипатию, восхищение — в ненависть, нежность — в ярость.

Если бы в мироздании действовала только сила любви, все слилось бы в единый ком, планеты притянулись бы к звездам и сгорели в их пламени, а звезды упали бы в центр Галактики. В недавно опубликованных архивах Ньютона обнаруживается теологическая подоплека открытых им физических законов; в частности, он объясняет закон всемирного притяжения действием божественной любви. Но как тогда объяснить силы антигравитации, на которые все более определенно указывает современная физика в поисках причин, почему Вселенная расширяется быстрее, чем в прошлом, как будто кто-то раздвигает ее? Отрицательное давление так называемой "темной энергии" (у физической терминологии есть свой, неслучайный мистический смысл) противодействует гравитации, что можно сопоставить

с силой ревности, которая превращает притяжение в отталкивание. Ревность — основа небесной механики, сложно уравнивающая силы притяжения и отталкивания?

Тогда понятно, чего не хватает в эмпедокловой модели мира, которая строится на чередовании любви и вражды, — не хватает третьей силы, которая опосредовала бы их. Сила притяжения не упраздняет силу отталкивания, но живет в ней и рождает ее из себя, как из любви рождается ревность. Чем больше человек любит, тем больше он склонен отталкивать всех других от предмета своей любви. Если искать то единое, что лежит в основе и литературных сюжетов, и космоса, и истории, что движет планетами, людьми, персонажами, — то это великая, неиссякающая ревность, которая завязывает в один узел любовь и ненависть и не позволяет им победить друг друга.

Да и не только в космосе и истории... Сам Бог в Ветхом Завете называет себя Богом ревнующим — это одно из самых устойчивых Его (само) определений. "... Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов". (Исх. 20:5) "... Возревновал Я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою" (Зах. 1:14). "До ревности любит дух, живущий в нас" (Иак. 4:5). Отношение между Всевышним и Израилем — любовные и "супружеские", как ясно из "Песни Песней", а потому и "ревнивые". Если бы Бог только любил своих избранных или только восставал на врагов своих, мировой процесс давно бы пришел к завершению. Но то единое и всемогущее, что лежит в основе Божьей воли, — это не остывающая ревность, а она не дает до конца сбыться ни милости, ни ярости, превращает одно в другое, и этим животворится мир.

В строке Данте, завершающей "Божественную комедию": "Любовь, что движет солнце и светила", — следовало бы "любовь" поменять на "ревность".



Революция как скандал

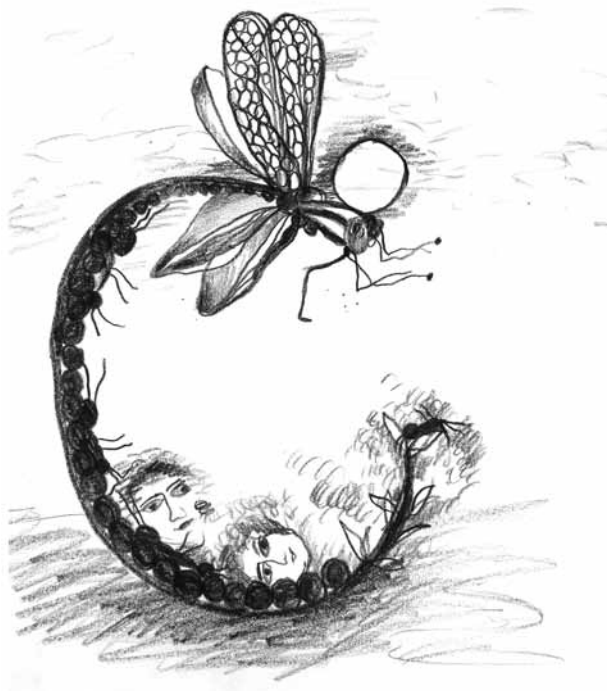
Революция — это скандал истории. Все летит вверх тормашками. Забываются все правила вежливости. Начиная выворачивать друг другу карманы и задирая подолы, сначала исподтишка, а потом все более наглея — и попутно объясняя потерпевшему, что сам он вор. Грабь награбленное. "Это мое", — кричат низшие сословия и волокут себе все без разбора, а высшие, утратив благородную осанку, упираются и не отдают. И по мордасам, по мордасам. Визгливые возгласы: "не твое!" — "отдай!" — "не трожь!" — так называемая идеология. Большевики: "А вот сейчас как вдарю!" Либералы: "А ну-ка убери руки!" Монархисты: "Вязать его, сукиного сына!" Меньшевики: "Полегче, полегче, сейчас разберемся, товарищи". Народ: "А ну отойди от меня, я припадочный!"

Достоевский изобразил непонятную для европейцев любовь русских к скандалам, когда все общественные приличия вдруг мигом слетают с людей, закрученных вихрем какого-то нервического припадка откровенности: режь правду-матку — и пропади все пропадом. Вот скандал, закипая по классам, чинам и сословиям, и грянул на все общество — революцией.

Понятно, отчего в западном обществе, при всей склонности к марксизму, все-таки тему революции не затрагивают. О чем угодно толкуют с самых левых позиций: о богатстве и бедности, о неравномерном распределении доходов, об отчуждении и социальной несправедливости, о капиталистической эксплуатации, о буржуазном индивидуализме, о рыночной анархии и товарном фетишизме, о пороках

потребительства. Кажется, еще чуть-чуть — и над страной нависнет призрак революции. Но чтобы сказать: давайте делать революцию, революция нужна нашему больному обществу, — до этого не доходит. На последний шаг не решаются. И быть может, по очень простой причине: не любят скандалов, боятся неприличия.





Самое-самое

Самое интересное... Самое красивое... Самое благое... Самое мудрое... В определении всех этих понятий есть общее: они выражаются соотношением максимума и минимума.

Чем более достоверна идея и чем она менее вероятна, тем она интереснее. С научной точки зрения, лучшая теория та, которая наиболее убедительно доказывает нечто наименее очевидное. Или, по Нильсу Бору: достаточно ли безумна эта теория, чтобы быть истинной?

С этической точки зрения, лучшее действие то, которое приносит благо всему человечеству, но совершить которое может лишь один человек. Делай то, что *каждый* должен был бы сделать на твоём месте, но чего *никто* не может сделать вместо тебя. Чем больше объектов у действия и чем меньше субъектов (то есть чем незаменимее субъект), тем выше его нравственный потенциал.

С эстетической точки зрения, лучший сюжет тот, в котором сочетаются наибольшая естественность и наименьшая предсказуемость: каждое событие, каждый поворот действия должны восприниматься как глубоко закономерные, но при этом — неожиданные.

Таким образом, и в науке, и в этике, и в искусстве действует общее правило: наибольшее в наименьшем. "Самое-самое" — это не просто повтор одного слова, это сокращённая формула: *самое* большое и *самое* малое образуют единство. Это закон, открытый философом Николаем Кузанским: совпадение абсолютного максимума и абсолютного минимума.

И тот же закон действует в религиозной сфере. Наибольшее — Царствие Божие — уподобляется наименьшему, горчичному зерну. Сам Бог умаливается не просто до человеческой, но до самой позорной участи, претерпевает гонение и крестную смерть. И, напротив, малые мира сего, в отличие от богатых и сильных, обретут Царствие Небесное. Будьте как дети — и возрастете до небес.

Таков закон предельной интенсивности: максимум в минимуме.

Свобода и судьба

К понятию необходимости ведет понятие свободной воли, а не наоборот, как полагали Гегель и Маркс, для которых свобода — осознанная необходимость. По Гегелю, "свобода имеет своей предпосылкой необходимость и содержит ее в себе как снятую". Все ровным счетом наоборот: необходимость имеет своей предпосылкой свободу. Не-обход-имость тогда и возникает, когда пытаешься что-то обойти, — логически и этимологически следует за "обходимостью", вбирает опыт свободы. Близкие по смыслу слова, образованные отрицанием: "неизбежность", "безвыходность", "неотвратимость" — также указывают на порыв к свободе: из-бегание, вы-хождение, от-ворачивание. Слово "не-об-ход-имость" содержит в себе краткую и трагическую историю свободы и говорит о ней даже больше, чем само слово "свобода". Сходная этимология у слов "necessarius", "necessary", "necessaire" в латинском, английском, французском и других европейских языках. Здесь корнем выступает "cedere", что означает "уступать", "отходить". "Necessarius" — буквально "неотступный", "неотпускающий", "несдающийся", "непреклонный", то есть ограничивающий свободу ухода, отступления. Необходимость — это свобода, дошедшая до конца и натолкнувшаяся на свои пределы.

Необходимость не может быть осознана, пока у нас нет опыта свободы, — и только в противодействии этой свободе необходимость воспринимается как судьба. Моя кожа — просто данность, пока я ношу ее на себе, не замечая ее. Но если мне становится в ней тесно и я пытаюсь выпрыгнуть

из нее,— тогда-то я и понимаю, что это *судьба*, что я не могу сбросить свою кожу, расу, эпоху, культуру... Пока я живу в России, русский язык для меня — естественное средство общения. Переехав в другую страну и пытаюсь освоить ее язык, я убеждаюсь опять и опять, что, вопреки своей воле, продолжаю мыслить по-русски: его грамматика довлеет моему сознанию и даже подсознанию. Тогда-то русский язык и становится моей судьбой. Только попыткой преодоления обстоятельств можно постичь их непреодолимость. Чтобы дорасти до понимания своей судьбы, нужны усилия свободной воли.

У растения и животного есть природа и среда, но нет судьбы. Для этого им не хватает главного — сопротивления природе и среде. Те данности, которым я тщетно бросаю вызов, ибо они не поддаются действию моей воли,— они-то и складываются в судьбу. Настоящим фаталистом, испытывающим ее непреклонность, становится лишь тот, кто доходит до крайностей своеволия,— как Печорин в "Герое нашего времени".

Судьба — это раздвоенная суть человека как судящего и судимого, дерзающего и потому обреченного. Здесь общий корень — "суд". Человек-*судья* и бытие-*судьба* действуют совместно и наперекор друг другу, как достойные соперники. Судьбы нет там, где есть совпадение вещи с порядком вещей, где растение растет, а животное живет. Человек — *судьбообразующее* существо именно потому, что он восстает против порядка вещей, изрекает свое слово — и слышит в ответ предреченное ему. "Рок" недаром того же корня, что и "речь". Такова этимология и латинского "fatum" — это причастие от "fari", сказать, то есть буквально "нечто сказан-

ное, изреченное". Человек есть существо *рекущее* — и потому *обрекаемое*, подверженное року.



Святобесие — Каинов грех

История Каина напоминает о том, что первое убийство было совершено из высочайших побуждений. Именно религиозное рвение может обернуться самым страшным грехом. Это убийство не из жадности, не в борьбе за власть или женщину, т.е. по простым и "низким" мотивам. Каина мучит неутоленная духовная жажда, он ищет благословения свыше. Он возревновал Отца Небесного к брату, чья жертва была принята, а Каинова — отвергнута. Святобесие, одержимость священным — желание больше, чем другие, угодить Богу, вера в то, что твоя вера истиннее других. Это не просто гордыня, а гордыня веры. История Каина — предупреждение всем верующим, которые жаждут превознестись над собратьями по вере, и всем церквям, превозносящим себя над другими вероисповеданиями.

"Святобесие" — так В. Третьяковский когда-то предлагал перевести "фанатизм" с французского. Слово не пришло, но сейчас у него появляется новый шанс. Слишком много вокруг святобесов — людей, знающих твердо, в чем спасение всех и вся, одержимых своей святостью или святостью своих убеждений и готовых пасти народы.

При этом очевидно, что святобесие и фанатизм — разные явления. Фанатик истово верит в Бога и готов пожертвовать собой ради Него. А святобесие — это выплеск ненависти и гордыни под видом защиты святынь. Агрессии в нас много, и самый легкий способ ее разрядки — это впасть в ярость и бешенство не за себя, не за свои маленькие боли и обиды, а за нечто абсолютно великое и святое. Тогда

можно пороть, жечь, казнить — и разрешить это себе по совести...

Святобесие — это еще и святозлобие: злоба, которая воодушевляется святынями, высочайшими идеалами, в чем бы они ни заключались. В блоковской поэме "Двенадцать" красногвардейцы стреляют в Христа: "Черная злоба, святая злоба... Товарищ! Глади в оба!" Но святозлобие может находить свое мрачное, человеконенавистническое вдохновение и в самом Христе, точнее, в учениях и обрядах, якобы Им освященных. Его именем заключать в тюрьму, убивать, мстить, призывать к насилию и деспотизму. Часто такая злоба нервноически взвинчивает себя обличением иноверных или даже мельчайшими отступлениями от правил и обрядов в поведении единоверцев. У злости, как энергии разрушения, есть много спусковых механизмов, но самый опасный из них и приводящий к наибольшим жертвам, — это злоба "во имя святого".

Сила влияния

Михаил Катков, редактор "Русского вестника", был важный господин, а Федор Достоевский, который печатал своих "Братьев Карамазовых" в этом журнале, был гораздо менее важный господин. Вот почему в письмах к Каткову он лебезит, тушуетя и "покорнейше просит". Как известно, потомки глубоко равнодушны к Каткову, а перед гением Достоевского они благоговеют. Но никакое восхищение потомков не в силах отменить того факта, что при жизни г. Катков был гораздо весомее, имел больше осанки и чувства собственного достоинства, заставлял считаться с собой, внушал почтение и даже робость. А на Достоевского достаточно было только посмотреть: таким человеком смело можно было пренебрегать, и если романы его и имели влияние, то сам он, как личность, влияния не имел.

Вот эта природа влияния, которое имел Катков и не имел Достоевский, представляет большую загадку. Что источают эти люди, какие волны распространяются от них? И почему творческие личности редко бывают влиятельными господами?

Силоамская башня

Вечный вопрос: "Почему?" Почему именно эти жители Крымска погибли при наводнении? Почему именно эти посетители кинотеатра в Колорадо стали жертвой бойни? Почему торнадо, цунами, землетрясение губят одних и щадят других? Почему умирает тот, кому время цвести, а выживает тот, кому время тлеть? Наша реакция на катастрофу: ужас, сострадание — и изумление перед ее непостижимым произволом.

В Евангелии от Луки мы находим откровение о *беспричинности*, но *небеспоследственности* стихийных бедствий и роковых происшествий. "... Думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но, если не покаетесь, все так же погибнете".

Парадокс в том, что погибшие погибли не оттого, что были виновны, — они не греховнее тех, кто уцелел. Но те, что остались жить, могут погибнуть уже по своей вине, ведь перед ними есть пример тех, кто умер, не успев раскаяться. Не доискиваясь причины гибели мертвых, Иисус обращается с призывом к живым, чтобы предотвратить их духовную гибель.

В этом суждении есть нарушение привычной логики: настоящее не выводимо из прошлого, но будущее определяется настоящим. В отличие от индийских концепций кармы и астрологического детерминизма, сложившаяся в иудео-христианстве концепция судьбы обнаруживает, что между прошлым и будущим нет равновесия причин и следствий, нет симметрии. Сейчас, в настоящем, человек

наделен свободой именно потому, что над ним не тяготеет прошлое; а значит, он способен отвечать за то, что случится с ним в будущем. Нет вины на погибших, но ответственность ложится на живущих.

Скорость души

У Антониони есть фильм "За облаками". Там девушка рассказывает историю, которую прочитала в журнале. В одну восточную экспедицию были наняты носильщики из аборигенов, они долго шли, а потом неожиданно сели и просидели несколько часов. Потом вдруг встали и снова, как ни в чем не бывало, тронулись в путь. Руководитель экспедиции спросил у главного из них, почему они так долго не двигались с места. И тот ему объяснил: мы шли так быстро, что наши души не могли нас догнать. Поэтому мы их ждали.

Да, душа не успевает за нами. Но как часто и мы не успеваем за своей душой! Сидишь, работаешь, кругом все привычное, спешить вроде некуда — и вдруг понимаешь, что душа твоя уже где-то в другом месте, пора ее догонять. Куда-то мчаться, задыхаться, стучаться в чью-то дверь.

Сложность

Непревзойденная сложность людей Серебряного века... Вяч. Иванов, Мережковский, Блок, Белый, Сологуб, Л. Андреев, — какая-то россыпь переливчатых, бесконечно запутанных чувств и отношений. По сравнению с ними люди 21-го века — примитивные существа, состоящие из архетипов и стереотипов. Сложность кажется старомодной, как и вообще любой психологизм, внутренняя утонченность. И это упрощение — вовсе не результат социалистической революции: на Западе люди, как правило, психологически еще более прямолинейны и одноплановы, чем в современной России. Таких сложных людей — и авторов, и персонажей — просто больше нет на свете, а возможно, и не будет никогда.

А ведь казалось — это только начало. По сравнению с рационально-социальным 18-ым веком, эпохой классицизма и Просвещения, люди 19-го и особенно начала 20-го — романтики, декаденты, символисты — были необычайно утонченными, кружевными натурами, и думалось, что такова и будет линия человеческого развития — на внутреннее усложнение, богатство оттенков. Но она оборвалась — почему?

Слушание как призвание

Почему пророкам, гениям, наставникам человечества так редко удавалось высечь искру Божию в душах людей? Сами воспламенялись — а вокруг оставался мрак. Сами проповедовали — а стоящие вокруг молчали, готовые слушать терпеливо, но безотзывно. Ведь их уши уже забиты тысячами речей.

Чтобы молчащие заговорили, кто-то должен внимать им. Пришло время уже не Слову, а Слуху выполнить мессианское предназначение. В мир должен явиться тот, кто будет не учить, а учиться, ведь, как правило, у людей есть учителя, но нет учеников. Это и будет учение, приходящее к людям от них самих; они откроют в себе неведомые раньше смыслы, потому что спаситель откроет им свой слух. Творческий, активный, вбирающий слух. Только молчание может раскрыть людям, кто они есть на самом деле, какими наделены дарами. Они не знают, чем владеют, потому что им некому передать свои дары.

Этот наименьший, слушающий, позволит нам услышать самих себя. Он подарит нам удивление перед собственной мудростью. Я не пишу его имя с большой буквы — он должен быть меньше других, они возрастают на величину его самоумаления.

Но и в каждом из нас есть та слабость, то незнание, которые способны пробуждать силу и знание в других. Может быть, это и есть наше призвание, которое нужнее людям, чем наше знание и сила. Призвание Слуха.

Собаке богословие

Когда я завел собаку, мне стала понятнее вера в Бога. Я смотрел на нее и соизмерял с собой. Мы оба живые, хотим и любим жить. Мы оба едим, дышим, испытываем боль и радость... Но она не понимает 99 процентов того, что понимаю я. Например, что такое холодильник и как он устроен (впрочем, и я этого до конца не понимаю). Она не понимает, куда я ухожу, что такое университет, в чем состоит моя работа; что такое книги, как и для чего их читают. Мерой ее непонимания я могу измерить свое. Я не понимаю — и никто из людей не понимает — как устроена Вселенная и для чего она существует. Мы не понимаем, почему происходят несчастные случаи, в которых гибнут неповинные люди. Мы не понимаем, почему некоторые дети рождаются больными и умирают. Мерой моего превосходства над сознанием собаки я могу измерить превосходство другого сознания над моим — и тем самым признать достоверность его существования. Вот собака, вот я — и вот третий, чье сознание соотносится с моим примерно так же, как мое с собачьим.

Но вот собака умерла — и моей вере в Бога стало недоставать чего-то предметного, повседневного, невоскресного.

Событие

Событие — то, что происходит во времени, но при этом придает всем своим моментам одновременность. Например, такое событие, как вступление в брак, включает ряд последовательных во времени действий: знакомство, ухаживание, предложение и согласие, встречи с родственниками, процедура официальной регистрации, венчание, свадьба, медовый месяц, переезд в новый дом и т.д. Но структурно это одно событие, в котором все элементы взаимосвязаны и должны сопридти, по крайней мере большинство из них. Событие — со-бытие разных моментов времени в надвременном единстве.

Такое событие, как мирное соглашение между воюющими державами, включает ряд структурно необходимых и формально закрепленных действий: консультации экспертов, зондирование общественного мнения, принятие политического решения, переговоры на разных уровнях, межгосударственные визиты, подготовка и обмен текстами соглашения, подписание соглашения, торжественный прием, мероприятия по разведению войск и т.д., так что без одного из этих элементов другие лишаются смысла. Событие есть машина поглощения и уничтожения времени.

Вся человеческая жизнь может быть представлена как одно событие, которое не могло бы состояться без всех его разновременных составляющих, от рождения до смерти. Точно так же жизнь всего человечества может быть представлена как одно событие, все элементы которого, от первобытной эпохи до наших дней, должны сопридти, чтобы структурно образовать событие всечеловеческой

истории. Наконец, и вся жизнь Вселенной, с первого взрыва, положившего начало ее расширению и образованию галактик и звездного вещества, может быть представлена как одно событие, которое сжимает и синхронизирует в себе все космическое время и за пределом которого нет времени вообще. Такое мегасобытие само по себе является безвременным, принадлежит вечности.

Если время — подвижный образ вечности, то событие — это вечностный образ времени.

Сочинительство — форма чтения

Порой писателями становятся лишь для того, чтобы прочесть наконец ту книгу, которую никому раньше не довелось написать. Как война есть продолжение политики, только иными средствами, так сочинительство есть продолжение и расширение читательского опыта. Писатель — это неутоленный или разочарованный читатель: он пишет то, чего ему не удалось найти у других. Во всей известной мне литературе не хватает еще одного автора, пусть очень маленького, — и приходится самому им стать.

Спешить любить

С возрастом все меньше остается времени на то, что не есть любовь. На ссоры, упреки, доказательства, возражения, выяснение отношений, на злобу дня и ум веков, на критику и прогресс — ни на что не остается времени. Только успевай любить, обнимать, прижимать к себе, распространять вокруг себя тепло, купаться в тепле другого, слушать его сердце и дыхание, делиться и главным, и сиюминутным так, чтобы все это немедленно становилось общим... Входить в сплоченность тайны, переполняться нежностью и выплескивать ее из себя, сочетаться, сродняться каждой клеточкой, лнуть, приникать, вникать, воплощаться в ближнем... И спешить, отчаянно спешить с этой любовью, пока не угас в тебе ее источник, пока не растеряны средства ее воплощать, пока еще есть глаза, чтобы любоваться, и руки, чтобы ласкать, и сердце, чтобы мучиться и блаженствовать. Потому что ад, как сказано у Достоевского,— это осознание навсегда утраченных, невоплощенных возможностей любви.

Я банально и даже арифметично определяю свое жизненное кредо. *Хорошо все, что способствует увеличению любви, плохо все, что ведет к ее уменьшению.*

Страдательный залог существительных

Как известно, у глаголов есть действительный и страдательный залого. Последний показывает, что предмет является не субъектом, а объектом действия: "дом строится", "работа делается", "песня поется".

Но, по сути, страдательный залог может быть и у понятий, выраженных существительными. Например, одиночество — страдательный залог свободы. Одиночество — то, что субъект свободы претерпевает в качестве ее объекта, как точка страдательного приложения и жертва собственной свободы.

Тошнота — страдательный залог опьянения.

Боль — страдательный залог любви.

Скука — страдательный залог покоя.

Пресыщение — страдательный залог изобилия.

Не всегда в страдательном залоге стоят отрицательные понятия. Радость — страдательный залог творчества.

Стрекозы, муравьи и стремуры

Есть люди жизни и люди принципов. Условно их можно назвать стрекозами и муравьями. Первые живут, как живется, не заботясь о целях и результатах. Наташа Ростова, Дмитрий Карамазов, Иван Северьяныч Флягин — "очарованный странник" у Н. Лескова... Вторые подчиняют свою жизнь правилам и убеждениям: пересоздать общество, познать мир, стяжать власть, достичь духовного просветления. Грибоедовский Чацкий, гончаровский Штольц, тургеневский Базаров, Рахметов у Чернышевского...

Мне милы стрекозы, хотя более понятны муравьи. Как Мандельштам, я завидую осам (сестрам стрекоз), жадно сосущим ось земную. При этом несомненно, что цивилизация строится муравьями: всеми историческими свершениями и славой веков мы обязаны их накопительно-созидательной деятельности. Очаровываясь стрекозами, я уважаю муравьев.

Но более всего мне интересны не те и не другие, а люди, которые пытаются совместить жизнелюбие и верность принципам — и осознают трудность, даже неразрешимость этой задачи. Они не просто отдаются потоку жизни — и не просто трудятся, подчиняя ее определенной цели. Для них важно и то, и другое, и они пытаются, пусть безуспешно, их соединить, поэтому их можно назвать *стремурами*.

Стремуры то отдаются на волю жизни, пытаюсь все в ней изведать, вплоть до самых крайностей, неистово и саморазрушительно. То спохватываются, обуздывая себя, ищут принцип, которому могли бы подчиниться, и ради него даже ломают себя. В ряду таких характеров мне видит-

ся героиня бунинского "Чистого понедельника", которая вдруг обрывает уже сложившийся порядок своей приятной, беспечной жизни уходом в монастырь. Более развернутый пример: толстовский Пьер Безухов, который мечется между "живой жизнью" и идеалами то религиозного, то политического служения. Ради вдруг обретенных принципов эти люди могут изменить свою жизнь. И они же перед лицом жизни могут изменить принципам или изменить сами принципы.





Тавтология — фигура мудрости

Больному сняли гипс после перелома ноги. Он спрашивает врача: что нужно делать, чтобы начать ходить? Ответ: ходите. Тавтологическая правда жизни: чтобы ходить, нужно ходить.

Этот глагол можно заменить любым другим — суть не изменится. Чтобы любить, нужно *любить*. Чтобы жить, нужно *жить*.

Вообще из всех языковых фигур мудрость выбирает тавтологию:

"Люди есть люди" (им свойственны слабости).

"Закон есть закон" (его нужно исполнять).

"Ребенок есть ребенок" (пусть пошалит).

"Мать есть мать" (склонна прощать).

"Работа есть работа" (ее нужно делать, невзирая ни на что).

"Отдых есть отдых" (забудь обо всем и позволь себе расслабиться).

Впрочем, это не совсем тавтологии (типа "масло масляное"), поскольку первое слово — субъект суждения, а второе — предикат. Одно слово разделяется на два значения, которые воссоединяются посредством связки "есть". "Люди" — представители человеческого рода вообще — и существа, обладающие определенными моральными качествами и недостатками. "Мать" рождающая — и сострадающая, прощающая.

"Чтобы жить, нужно *жить*": первое — цель, а второе — средство. Значит, цель сама содержит в себе средства своего

достижения. Так язык отталкивается от понятий, чтобы к ним вернуться; это не топтание на месте, а смиренное осознание неизбежности круга — и превращение его в *спираль*. Эта нетавтологичность тавтологий глубоко выражена у Пиндара: "стань тем, кто ты есть!"

Многое, конечно, зависит от говорящего. У одного тавтология прозвучит как механический повтор, а у другого — как откровение. Разница в том, сколько молчания и опыта вложено в тавтологию, создавая смысловое напряжение между ее полюсами. Собственно, между обывателем и мудрецом внешняя разница тоже не велика: халат, кресло, домоседство. Но один — человек как все, другой — всечеловек. "Не выходя со двора, можно познать мир", — говорил Лао-цзы. Обыватель вообще не трогается с места, а мудрец возвращается к своему халату и креслу из дальних странствий (пусть только мысленных, воображаемых). Для него люди — это... это... (скольких он повидал, успел оценить, разочароваться, сравнить с собой, снова очароваться...) — это *люди*. Он не топчется на месте, а движется по спирали, *восходя* к началу.

Талант и его реализация

В цикле лекций "Признания молодого писателя" Умберто Эко рассказывает, что в молодости он, как почти все, писал стихи, но вскоре бросил, чем впоследствии гордился. "Есть хорошие поэты, которые сжигают свои стихи в 18 лет, и плохие, которые продолжают их писать до конца жизни".

Действительно, при отсутствии дарования лучший поэт тот, кто перестает сочинять стихи. По крайней мере, он может остаться поэтом на других поприщах: в прозе, философии, кулинарии, домашнем хозяйстве, воспитании детей, тогда как у рифмоплета не остается ни поэтической возможности, ни актуальности.

Другой случай: талантливые, даже гениальные люди вдруг резко обрывают свою стезю. Классический пример — Артур Рембо, который прожил, как и Пушкин, 37 лет, но прекратил писать в 19, а оставшуюся жизнь посвятил африканским странствиям, торговле и "пути конквистадоров".

У некоторых людей потенциальное и актуальное совпадают: способные действуют, а неспособные бездействуют. Но столь же часто бывает и наоборот: способные бездействуют, а неспособные действуют. Условно можно выделить четыре типа:

1. активно талантливые: много могут и много делают;
2. пассивно талантливые: много могут и мало делают;
3. активно бездарные: мало могут и много делают;
4. пассивно бездарные: мало могут и мало делают.

О первых и говорить нечего: победителей не судят. Далее, сравним второй тип с третьим. Что лучше: не делать того, к чему способен, или делать то, к чему не способен?

"Оба хуже". И все-таки насколько одаренно-бездеятельный тип по-человечески симпатичнее бездарно-деятельного! У Достоевского сказано, что аристократ, идущий в народ, обаятелен. А вот плебей, рвущийся в высший свет, не-обаятелен. То же самое и с талантом, обрекающим себя на безделье,— и с бездарностью, рвущейся на великое поприще. Пусть действительность не меняется, но дар остается. А действенная бездарность уродует саму действительность. Отсюда можно заключить, насколько потенциальное человеческое актуального. Самое человеческое в человеке — его возможности.

Впрочем, каждый человек хоть в чем-то талантлив или бездарен. Но различать между своими талантами и неталантами и, соответственно, действовать по их наличию или отсутствию,— это особый дар, может быть, важнейший из всех. А вот он, увы, не универсален.

Манящий мост

Каких только образов и метафор не создано о любви: огонь, свет, вихрь, буря, гроза, вулкан, ветер, туман, пожар, костер, звезда, океан, море, цветок, венок, стрела, меч, нож, чума, отравка, вино, мед, алмаз, книга, зеркало, тень...! Одна из самых потрясающих — у Бунина: "солнечный удар", который обессиливает, оглушает, парализует, лишает дара речи. Впереди ничего нет, одна только пустая сияющая бесконечность времени "без нее".

Мне, однако, представляется другая метафора, столь же опасная, но не смертельная, не безысходная. Ее нет даже в самом полном словаре метафор: "мост", точнее "танцующий мост". Двое с разных сторон вступают на мост, идут навстречу друг другу. Чтобы, поравнявшись, вежливо кивнуть и разойтись. Но вдруг от резонанса мост начинает раскачиваться у них под ногами. И чем ближе они к середине, тем сильнее качка, которая бросает их друг к другу, потому что только так, крепко прижавшись, они могут удержаться на этом мосту.

А пляшет он потому, что они, сами того не ведая и не желая, его раскачали. В них живет общий ритм, передающийся этому мосту и возвращающийся к ним обратно с умноженной силой. Оказывается, мост — это не просто переправа, это способ выявить то, что живет в идущих, это зеркало их шагов, увеличительное стекло, и если их пронизывает невидимый общий ритм, то мост делает его видимым, осязаемым, сотрясающим.

Хочется добавить: пляшущий и поющий мост, потому что тот же ритм, который его раскачивает, звучит и в воз-

духе, и в словах, и в мыслях, озвучивает все окрестности, которые тоже начинают приплясывать и подпевать в такт. Это не менее тревожная метафора, чем "солнечный удар", потому что на танцующем мосту очень трудно стоять, а внизу — глубокие воды, кружится голова... Двоим остается только крепче держаться друг за друга, чтобы пересилить это мостотрясение, которое от них же исходит, их же качает.

Могущество и дерзость

Где для мысли недостижима точность, там неминует дерзость.



Мрачные будущего

Обычно мы видим процесс компьютеризации как передачу человеческих функций машине. Но возможно и другое понимание: история цивилизации как процесс очеловечивания машины, от колеса и рычага до компьютера и далее до человекообразного и мыслящего робота. Чем больше человеческих функций, в том числе интеллектуальных и коммуникативных, передается машине, тем больше она очеловечивается. В той же мере и сам человек технизируется, окружая себя десятками приборов, становясь органической частью технической среды, подключаясь к ней всеми органами чувств и всеми инструментами творчества, от очков до компьютеров, а порой и вживляя ее элементы в свое тело (протезы, чипы). Вырастает перспектива "киборга" — целостного природно-искусственного существа, сочетающего в себе свойства универсальной машины со свойствами человеческого индивида.

Означает ли это смерть или торжество человеческого? Останется ли это существо, в котором слита органика природы и могущество техники, человеком в прежнем смысле? Будет ли он любить, страдать, тосковать, вдохновляться? Или он со стыдом сотрет с себя следы своего животного предка, как человек стыдится в себе черт обезьяны? Будет ли он более или менее человеком, чем в нынешнем своем состоянии?

По сравнению с накалом противоречий нового *биотехновида* может показаться мелкой борьба в душе Гамлета или Фауста. Можно ли обладать скоростью света или подвижностью волны и сохранить тоску по дому? Можно ли прони-

каться взглядом в подкожную жировую клетчатку, в строение внутренних органов и одновременно наслаждаться прикосновением к коже другого существа? Можно ли знать о другом "все" — и одновременно любить его? Можно ли быть информационно прозрачным для других — и одновременно сохранить чувство стыда? Как быть и вполне технически вооруженным, и по-человечески открытым и уязвимым, не убивая в себе одного другим?

Если так видеть будущее человека, как возможность новой гармонии и новой трагедии в отношениях между организмом и механизмом, между рожденным и сотворенным, то мы находимся лишь на отдаленном подступе к этой гигантской фигуре, для которой тесен будет масштаб шекспировских и гетевских трагедий.





Трещина

Бывают треснутые сосуды: если легонько постучать, раздается дребезжащий звук. Так и человек с трещинкой — это сразу слышно и видно, как бы он ни старался выдать себя за благополучного. Он живет в обнимку со своим несчастьем. Он его приютил. На таких людях лежит тень когда-то постигшей их беды или горького и неразрешенного недоумения. Они настолько с этим срослись, что не могут расстаться, даже когда им бывает весело и хорошо. Они лишь отчасти присутствуют в этой жизни, поскольку внутри них совершается нечто более важное — похороны прежней жизни. Они не могут полностью очнуться, прийти в себя — что-то держит их изнутри и не отпускает. По-настоящему их могут понять только люди с такой же трещиной. Трещина вообще отличный звукоуловитель. Целый сосуд не отзовется на то, на что треснутый легко отзовется. Правда, все тем же звуком — дребезжащим.

Убийство вдвойне

Когда преследуют, травят, топят творчески одаренных людей, во мне это вызывает двойную боль. Я понимаю, что такое чувство недемократично. В конце концов, убийство Мандельштама, Бабея и Хармса, ссылка Заболоцкого, травля Пастернака и Ахматовой столь же преступны и трагичны, как гибель миллионов не столь даровитых людей. И все-таки в растоптании творческой личности мне чудится двойное преступление — как в убийстве беременной женщины. Дар дается свыше, как и жизнь. Мы не можем сами себя наделить талантом или гением, как не можем сами себя родить. Творческий человек почти постоянно беременен, как Лизавета у Достоевского, которую заодно со старухой порешил Раскольников, втрое превысив число намеченных жертв. Дар — это жизнь внутри жизни, чреватая будущим, полная Духа, который дышит, где хочет; и губить, угашать его — убийство вдвойне.

Узнавать новое от самого себя

Я пишу, чтобы узнать, о чем я думаю. Я думаю, чтобы узнать нечто новое от самого себя.

Как это возможно — приобретать новое знание от самого себя? Откуда в моем уме берется то, чего я не знаю, — а если я этого не знаю, то как я могу это узнать?

От кого создатель теории относительности узнал, что энергия — это произведение массы на квадрат скорости света? Он узнал это от себя, потом другие ученые проверили и подтвердили. Мыслить — это и значит приобретать новое знание от самого себя, тогда как исследовать, изучать — значит приобретать знание у других.

Платон считал, что знание приобретается путем анамнесиса, то есть воспоминания о том, что бессмертная душа уже знает, приобрела в качестве знания внеопытно, до своего рождения. Сократ. "... если правда обо всем сущем живет у нас в душе, а сама душа бессмертна, то не следует ли нам смело пускаться в поиски и припоминать то, чего мы сейчас не знаем, то есть не помним?" (Платон, "Менон")

Я не считаю, что идеи нам целиком врождены, скорее, нам даны только их потенции, семена. Есть три основных среза сознания, которые можно объяснить сравнением с жизнью растения. Есть семя, некий прообраз, из которого разворачивается форма растения, "мыслящего тростника": это анамнесис, припоминание начальных идей, доопытных структур сознания. Есть солнечные лучи и дождевая вода, которые питают семя и выталкивают его из кожуры, встраиваются в клетки растения: это образование, чтение, познание, поступающая извне информация. Но между

анамнесисом и информацией, между семенем и его питанием, есть еще и чудесная жизнь самого растения, его зеленое прохладное тело, его яркие, жадные цветы, которые привлекают пчел, его подземные корни, которые обволакивают округу. Откуда берется это растение? Его нет ни в семени, ни в земле, ни в дождевой воде, ни в солнечном свете. Вот так и мышление ново по отношению к глубинным доопытным зародышам идей и по отношению к внешнему океану знаний. В мышлении возникает нечто, что я могу узнать только от самого себя, а от меня это могут узнать и другие.

Ум и его границы

Мера ума определяется не тем, сколь умную вещь человек способен сказать, а тем, какой глупости он не может себе позволить.

- Ум — не что, а *как*: умение соразмерять
- силу убеждений,
 - значимость предмета,
 - кругозор собеседника.

Человек, который вкладывает гулливеров труд ума в общение с лилипутами или обсуждение карликовых тем, вряд ли так уж умен. Важнейшее правило определено Пушкиным, усомнившимся в правильности названия грибоедовского "Горя от ума". Чацкий говорит умно, но сам вовсе не умен. "Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб." Умная вещь, сказанная не по адресу или велеречиво брошенная в дар неподходящей аудитории, выдает в умнике именно "умника", который не слишком-то умен. Так уж судил русский язык, что умниками называет только представителей сильного пола, склонного к умствованиям, а даром настоящего ума наделяет "умниц" — хотя слово это и общего рода, но как-то больше по окончанию идет к женскому. Женщины потому часто оказываются умнее, что придают уму гораздо меньшее значение. Наташа Ростова "не удостаивала быть умной". А преглупейшая Евдоксия Кукшина из "Отцов и детей" постоянно разглагольствует о самых что ни на есть

умственных материях. Умничать, то есть демонстрировать свой ум, — признак глупости.

Даже самый умный хоть в чем-то оказывается глуп, а самый глупый — умен. Тот, кто неизменно умен в своем деле, в профессии, может оказаться глуповат в социальном общении, в застолье. Академик может показаться — и оказаться — глуповатым, когда пытается острить среди пирующих. Он тушует перед тамадой, у которого шуточки сами слетают с языка — на редкость умно и уместно.

Бывает, что человек умен только в одном. Есть женщины, умные в своих материнских заботах или в своих вкусах (наряды, прием гостей, обстановка дома), но не слишком умные во всем остальном. Есть люди с умными руками (мастера), или с умными ушами (музыканты), или с умными глазами (художники), которые во многом другом не обнаруживают никакого ума.

Следует прежде всего спросить себя, в чем именно я умнее, а в чем глупее, — и быть соразмерными ситуации, не танцевать на похоронах, даже если вы танцор высочайшего класса.

Умиление

Умиление — одно из самых глубоких и вместе с тем загадочных чувств. Чем оно вызывается? Мы умиляемся слабому, хрупкому, когда оно обнаруживает в себе силу. Умиляемся ребенку, когда он произносит первые слова, делает первые шаги, да и раньше, когда он открывает глаза, следит за игрушкой и т.д. Мы умиляемся бабочкам, воробушкам, малым тварям, которые добросовестно исполняют свое предназначение и находят себе место на пиру жизни. Сила свершается в немощи.

В этом и тайна умиления: это немощь, произвольность, непосредственность, незавершенность, сплошные "не", через которые совершается таинство жизни, ее движение навстречу нам. Ее беззащитность нас обезоруживает.

Умиление нельзя путать с жалостью, которая направлена сверху вниз, на слабейшего, нуждающегося в подмоге, и с восхищением, которое, напротив, направлено снизу вверх, на того, кто превосходит нас красотой, силой. Умиление — это своего рода синтез восхищения и жалости и вместе с тем ни то, ни другое. Это восхищение-через-жалость, это восприятие чего-то слабого, детского, беззащитного и одновременно восхищение его достоинством, силой, целостностью, это отношение не по вертикали — вверх или вниз, а по горизонтали, и поэтому оно наиболее человечно.

Упреки и обиды

Эмоциональные оттенки упреков очень разнообразны: от откровенной брани до милого укора и иронической похвалы. Упреки со слезами и со смехом. Криком и шепотом. Упреки-жалобы и упреки-обличения... Целая речевая вселенная, еще не исследованная.

Ответом на упрек бывает либо встречный упрек, обвинение, либо обида, т.е. переживание несправедливости упрека. Обида — это, по сути, тоже упрек, но в форме пассивной, не обострения, а отказа от отношений, что обостряет их еще сильнее.

Упрек и обида — самозаводящийся механизм взаимодействий между близкими людьми, одновременно и выражение близости, и ее разрушение. Упрекают тех и обижаются на тех, кто должен был бы понимать, а не понимает; должен был бы заботиться, а не заботится. С посторонних — какой спрос, а вот неблизость близких постоянно кровоточит, нарывает, болит. Есть в любовных и родственных отношениях завышенные и поэтому никогда не исполняемые ожидания. Если бы Маркс исследовал не экономические механизмы рыночных отношений, а психологические — семейных, то на место формулы "товар — деньги — товар" он поставил бы формулу "упрек — обида — упрек" (если начать с производителей упреков) или "обида — упрек — обида" (если начать с потребителей упреков, т.е. обиженных). Цепная реакция обид и упреков бесконечна, как товарный взаимобмен.

Упреки принадлежат к числу самых закостенелых речевых автоматизмов. Трудно, встретив знакомого человека, не сказать "здравствуйте". Вот так же трудно бывает не сказать

близкому: "А почему ты...", "Ну вот опять ты...", "Сколько можно...", "Я же просил..." и т.д. Но если упреки почти неосознанно, автоматически срываются у нас с языка, то почему бы не подсластить их? Возможно ли такое: сладкие упреки? приятные упреки? Увы, таких словосочетаний почти нет. В интернете сто тысяч "горьких упреков" и всего десять "сладких". А между тем сладкие упреки есть, нам только нужно обогатиться этими речевыми сокровищами:

"Ты себя недостаточно бережешь".

"Ты держишься слишком смело и независимо".

"Перед кем ты мечешь бисер?"

"Ты еще не оценил, на что я для тебя способна".

На все эти упреки можно смело обижаться, потому что и обиды тогда будут сладкими.



Хитрость Бога

Обычно хитрость ассоциируется с тайным умыслом, а значит, с чем-то недобрым, постыдным. Евангелие говорит, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Но ведь и добро по Евангелию тоже должно делаться скрыто, не напоказ,— даже втайне от себя самого. "... Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая". Добрые люди бывают хитрыми, насмешливыми, уклончивыми, скрывают свои мысли за иронической или скептической улыбкой. Но при этом готовы сделать даже больше того, чего можно от них ожидать.

В "Современном патерике" Майи Кучерской есть образ американского епископа, которому прихожане дарят машины — а они неведомо куда исчезают: "Спрашивают его, а он как дурачок сразу делается. Разбил, простите, братья и сестры, старика, разбил вашу красавицу, в металлоломе лежит. И на колени бух!... Ясный, веселый, бодрый такой старичок. Хоть и с хитрецей".

Здесь хитреца нужна именно для того, чтобы скрыть добрые дела, чтобы "милостыня была втайне" — машины или деньги с их продажи этот епископ отдавал нуждающимся.

Любое высшее знание включает в себя некоторое лукавство, уклончивость, потому что, открыв сразу все, можно навредить или запутать. Например, первоклассника учат, что из меньшего нельзя вычесть большее, из двух нельзя вычесть три. А уже в шестом классе, когда вводят отрицательные числа, объясняют, что так вычитать можно и что при вычитании трех из двух получается минус единица. Значит, первокласснику лгали? Но на том уровне пони-

мания, который был ему доступен, это было единственно возможным и, по сути, правильным объяснением. Точно так же и родители прячут от ребенка лекарства, чтобы он не употребил их себе во зло.

Вот и добро — это сложная система, которая начинающим, то есть большинству из нас, преподносится не напрямую. Всевышний с нами часто поступает не слишком заботливо. Болезни, войны, революции, катастрофы, землетрясения, ураганы... Минусовые величины, смысла которых мы не понимаем, подобно первоклассникам. Как Бог может допускать и даже насыпать зло, болезни? Если он всемогущ, значит, не всеблаго, а если всеблаго, значит, не всемогущ. Для объяснения мирового зла обычно используется аргумент от свободы: Бог создал человека свободным, а значит, не может насильно навязать ему добро. Но в отношении безличного зла: стихийных бедствий, эпидемий — этот аргумент не действует. Ведь не станем же мы приписывать ураганам и цунами свободу воли.

Тогда и остается объяснять зло в мире не свободой человека, а хитростью Бога. Именно она позволяет решить вопрос теодицеи (Богооправдания). "Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор., 2:9). Следует признать Всевышнего не только всеблагом и всемогущим, но и всехитрым, каким и должен быть ловец человеков и промыслитель судеб.

Хрупкость реального

В тяжелые минуты — болезни, утраты, одиночества — вдруг понимаешь, что реальность, на которую привык опираться, не прочнее, чем ты сам. Работа, отдых, книги, путешествия, жизнь города и мира... Все это начинает отступать и тускнеть. Реальность питается от твоей энергии, как компьютер — от батарейки, и если она разрядилась, то изображение начинает гаснуть. За реальностью нет ничего, кроме твоей способности воспринимать ее как реальность. Все время нужно поддерживать ее в рабочем состоянии. Усилием воли держать на своих плечах то, что само тебя держит.



Человек

Человек — это существо любящее и призванное к любви. Иногда чужой язык помогает увидеть то, о чем умалчивает свой. В сердцевине русского слова "человек" читается английское *love* — любовь. Об этом предназначении человека — главные заповеди: "возлюби Бога всем сердцем" и "возлюби ближнего своего как самого себя". Об этом же лирика и романы. "Только влюбленный имеет право на звание человека" (Александр Блок). Все эти мысли и заповеди сжимаются в одно слово: человек. Быть человеком — значит любить. Человек — это звучит любовно!

Человек и его жизнь

Может ли умному человеку выпасть глупая жизнь? Кажется, в жизни Пушкина было много бездумного и бессмысленного, включая роковую дуэль, хотя сам автор был умен. Но живущий бывает не столько автором, сколько персонажем своей жизни, а ведь известно, что у умных авторов порой встречаются глупые персонажи. Жизнь бывает умнее и смелее живущего — или глупее и боязливее. Может ли быть трусливой жизнь смельчака?

Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

И. Бродский. *На смерть Жукова*

Можно ли вообще применять к жизни свойства живущего — или умным и глупым, смелым и трусливым бывает только он сам? Нельзя исключить, что эти свойства переносимы с живущего на жизнь и обратно, но отсюда не следует, что они всегда совпадают. Ведь жизнь только частично зависит от живущего, а еще — от времени и места, от близких и дальних, от случая и судьбы... Как связан характер человека с характером его жизни, какими законами управляется эта связь и почему они могут так сильно различаться? Выдающийся человек может прожить вполне заурядную жизнь (приходят на ум П. Чаадаев, А. Фет, И. Гончаров). Но может ли, наоборот, заурядный человек, как, например, Брежнев, прожить великую жизнь? Здесь нет симметрии. Жизнь —

это взаимодействие человека и обстоятельств, которые, как правило, мельче и пошлее живущего. Поэтому яркий человек проживает тусклую жизнь чаще, чем тусклый — яркую. Романтик и авантюрист в душе чаще ведет жизнь обывателя, чем обыватель в душе — жизнь романтика. Но бывает и так, что очень обыкновенный человек попадает в исторические обстоятельства, которые возносят его на необыкновенную высоту. Так выпало на долю почти всем прославленным деятелям сталинского круга, именами которых были названы улицы и города — Молотов, Каганович, Жданов, Ворошилов...

Можно представить себе тусклую жизнь яркого человека и яркую — тусклого, жестокую жизнь добряка, добрую — грешника, грустную — весельчака, трагическую жизнь комика или комическую — трагика... Жизнь человека может отличаться от него самого даже больше, чем он сам — от других людей.



Человеческое, слишком человеческое

Когда много слышан о каком-то человеке, его идеях и подвигах, почти всегда испытываешь разочарование, глядя на его портрет. Ну вот, еще одно человекообразное: волосы, лоб, глаза, подбородок... все как у людей. А тебе вообразилось!... И как не надоест природе штамповать нас по одному шаблону? Человек открыл галактику — так пусть у него в глазах будут не черные точки — зрочки, а какие-нибудь спиралевидные туманности. Человек создал систему Абсолютного Идеализма — так пусть у него будет сфероподобное тело. Ведь такие разные духовные сущности! Одного гения воображаешь крестом, увитым зеленью; другого — радужным шаром; третьего — рябью на воде; четвертого — тенистым садом; пятого — звездным небом; шестого — лесным увертливым ручейком, а на поверку оказываются все те же два глаза и две руки. Мы совершенно иными, чем на портретах, представляем себе Гете, Гегеля, Ницше, пока читаем их или о них, проникаем в их духовные сущности и свершения. Смысл, излучаемый великими текстами, настолько превосходит человеческий масштаб их авторов, что перед их реальным обликом испытываешь недоумение. Вот с этим человеком: Руссо или Шопенгауэром, Марксом или Рембо, Гоголем или Набоковым, над текстами которых ты плакал, смеялся, мечтал, — смог бы ты дружески обменяться хоть парой слов, не говоря уж о духовном общении на уровне их же творений? Или тебя сразу же отпугнула бы замкнутость, заносчивость, насмешливость, угрюмость, тугодумие или легкомыслие этих субъектов, тексты которых покоряют сердце и ум?

Великий Плотин, создавший учение о Едином, стыдился своего тела. И действительно, мысль имеет настолько мощные формы воплощения, скорее похожие на вспышку вулкана, раскат грома, рассвет или закат, огромную птичью стаю, что для нее унижительно принимать форму кожи, волос, ногтей. "Ах, господин писатель, я столько Вас читала — а вижу впервые. Оказывается, Вы такое же двуногое животное, как и все. Морщины, мешки под глазами, прыщи, коричневые пятна на руках и подозрительный запах. Я-то воображала Вас чем-то средним между молнией, кентавром и Нарциссом".

В самом деле, после всего, что писатели нагромождают в своих сочинениях, после всех фейерверков, метафор, символов, запутанных ассоциаций, вкрадчивых иносказаний, — вот так взять и предъявить читателям свой лысеющий лоб, обвислый живот, свою абсолютную здешность, за которой ничего нет. Ни сверхчеловека, ни абсолютной идеи, ни всеединства, ни пролетарской борьбы, ни вечного возвращения... Все это остается в словах, в пачке бумаги или в книге на полке. А сам ты "взвешен и найден легким". И нечего было вещать насчет мировых загадок, исторических судеб, вечной любви и общения с Богом! Впору сгореть со стыда, ощущая себя самозванцем. От этой человеческой нищеты даже величайших гениев хочется уткнуться лицом в подушку, чтобы видеть их лишь в своем воображении.

Удивительно, что этих обыкновенных людей иногда кто-то любит, и даже больше, чем их творения.



Четвертое время: предбудущее.

Прошлое, настоящее, будущее... К этому стандартному набору можно добавить еще одно время — между настоящим и будущим: предбудущее. Это время "пред" — предчувствия, предварения, предвосхищения. Волевые акты направлены, как правило, не в будущее, а в предбудущее. Это зона самого активного, бурного времени: желаний, побуждений, стремлений, намерений. Если будущее — это гладь неизвестного, в которой яснее всего отражаются Бог и судьба, то *предбудущее* — это ближайшая стремнина и водоворот, в котором все кружится и пенится. Если будущее — "то, что будет", то предбудущее — "то, чему быть" (или "не быть").

В настоящем есть всегда томливість, устремление вперед. "Сердце будущим живет, настоящее уныло..." (А. Пушкин). Но не будущее, каким оно будет, а предбудущее, каким оно предстает вот-вот, в ближайшей перспективе, на расстоянии шага. Предбудущее — именно то, чем живет сейчас наше сердце: то время, которое всегда чуть-чуть впереди. Предбудущее — это "праздник ожидания праздника" (Ф. Искандер), и первый по остроте превосходит второй. Будущее — это отдаленная перспектива, а предбудущее — порог, перед которым мы стоим, область предельного напряжения всех сил и способностей. Одной ногой еще не оторвались от настоящего, другой еще не коснулись будущего — момент возможного падения. Или захватывающего прыжка.

Будущее — это полет фантазии: что там будет? как это можно вообразить? А предбудущее — фокус наших волевых

усилий: что мне делать, каким быть? Но чем сильнее и целенаправленнее наша воля, тем более дальнюю перспективу она охватывает. Для обывательского сознания предбудущее сжимается до минут (чего бы поесть/выпить?), для деятеля, пророка, созидателя растягиваться на века (каким быть миру, человеку?). Для школьника, которому на следующий день предстоит экзамен, предбудущее — это завтра; а для писателя, работающего над романом, оно растягивается на несколько лет. Для таких волевых натур, как Л. Толстой или А. Солженицын, все будущее становилось предбудущим, не оставалось безмятежной глади грядущих лет и веков, все втягивалось в водоворот вплотную подступающих решений и поступков. Может быть, это и есть мера жизнеустремленности: какая доля будущего вовлечена в предбудущее?

"Времени больше не будет",— сказано в Апокалипсисе. Значит, не будет и будущего. "Будет" потеряет всякий смысл, как временное обеспечение нашей лени и недеяния: дескать, что-ни-будь да "будет", время само о нас позаботится... Нет, уже не позаботится. Исчезнет равнинное "будет". Останется только крутое, как обрыв, "будь", уже не как категория времени, а как категория предельно наполненного существования, деятельной вечности.

Так что четвертое время — это своего рода "пятая", подрывная колонна в стройной шеренге времен. Встраиваясь в ход времени и предельно его ускоряя, оно готовится взорвать его изнутри.



Чудо как правило и как исключение

Есть два рода чудес, точнее, два разных отношения к ним. Можно воспринимать чудо как нарушение естественных законов жизни. А можно воспринимать как чудо саму жизнь и ее законы. Если на ветках дуба вдруг зацветут розы — это чудо. Но такие чудеса случаются крайне редко, хотя их-то мы больше всего и жаждем, их нам отчаянно не хватает для полноты веры. Однако то, что огромный дуб вырастает из крохотного желудя, в котором уже заключен весь его ствол, и корни, и крона, — это не меньшее чудо, чем розы на дубе. По сути, это даже более поразительное чудо, поскольку оно являет себя в форме правила, а не исключения.

Для подкрепления своей веры мы жаждем чего-то исключительного: телепатии, ясновидения, голосов свыше, явления ангелов, мироточащих икон, нетленных мощей, превращения камня в хлеб или железа в золото... Но ведь и обыкновенный ребенок, со своим вполне определенным характером, являющийся в этот мир неведомо откуда, — чудо; гениальная строка, неведомо кем продиктованная поэту, — чудо; душа, не объяснимая материальным устройством мира, — чудо; человеческая цивилизация, не выводимая из законов природы, — чудо; да и, пожалуй, само бытие, не выводимое из небытия, — чудо. Творение мира из ничего, Большой Взрыв, создавший нашу Вселенную, — чудо из чудес, и научный разум замирает перед этим событием, дальше которого не может проникнуть никакая физика. Вероятно, чудесное ожидает нас и по ту сторону жизни, во всем том, что, приходя неизвестно откуда, уходит неизвестно куда.

Если мы научимся воспринимать эту *чуждость* правил, чужда рождения, жизни, человека, мышления, любви, творчества, то нашей вере не нужно будет ждать подкрепления от вторичных чудес-исключений.

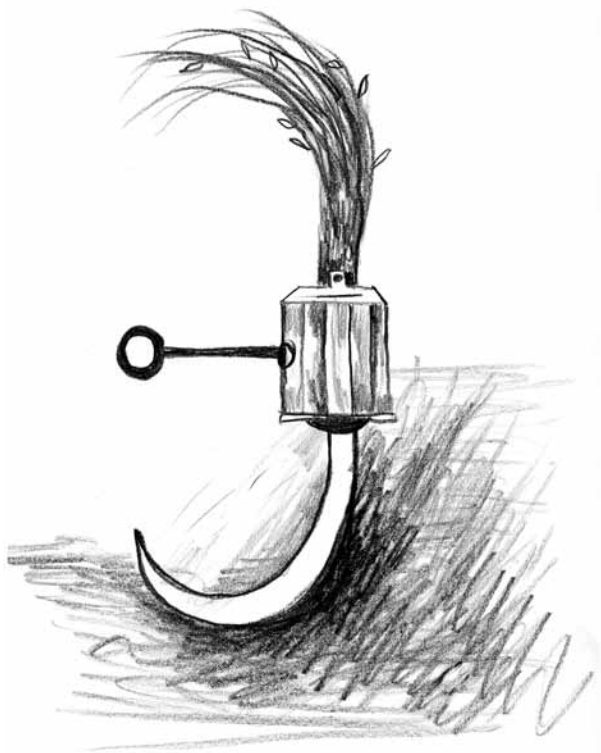




Щеку подставлять, но по ней не бить

На Западе большинство, воспитанное в христианском духе (настолько хорошо усвоенном, что уже бессознательном), готово подставлять свою щеку меньшинствам — расовым, этническим, культурным, сексуальным. Обличайте нас, бейте, побеждайте, вы от нас пострадали, вы имеете право на возмездие — комплекс кающегося аристократа или интеллигента, любимца природы или истории, который вдруг решил повиниться перед отверженными, "инакими".

Но отсюда вовсе не следует, что меньшинства имеют право бить по этой щеке и навязывать свою волю большинству. Подставлять *свою* щеку надо, а бить по чужой щеке не надо. Проблема меньшинств, в том числе иносексуальных, вполне решаема нравственно, если исходить из этого принципа: подставлять, но не бить.



Экзистенциальный народ

Крупнейшие и наиболее "русские" из россиян имели склонность к самоотрицанию, что удивляет иностранцев. Например, в истории русской философии западных студентов больше всего поражают не те или иные движения, а отношение мыслителей к собственным идеям. Их удивляет, что:

Чаадаев был одновременно отцом и западничества, и славянофильства: в своей "Апологии сумасшедшего" он вывернул наизнанку смысл своего первого "Философического письма" и превознес как залог грядущего величия России ничтожество ее прошедшего и настоящего;

Лев Толстой отрекся от своих великих художественных творений ради мужицкой правды и проповеди опрощения;

Владимир Соловьев в своей предсмертной "Повести об Антихристе" выставил в ироническом и демоническом виде те заветные идеи, которым посвятил свою жизнь пророка-мыслителя: всеединство, универсализм, теократию, объединение церквей.

Этот список самоотрекающихся, круто меняющих свой жизненный путь, "сжигающих то, чему поклонялись", можно продолжить:

Гоголь, вытравливающий из себя художественный дар и "кощунственный" смех и сжигающий свой заветный труд, второй том "Мертвых душ".

Достоевский, который в своих полифонических романах спорит с самим собой, со своими излюбленными идеями, в том числе религиозными.

Розанов, совмещавший в себе юдофила и юдофоба, ревностно писавший за левых и правых, боровшийся с христианством и умерший причастником Христовых тайн.

Блок, поэт и рыцарь Прекрасной Дамы и Вечной Женственности, который впоследствии представил ее в образе блудницы, в "Балаганчике" и "Незнакомке".

Платонов, утопист, коммунист, технофил, который на основе своих идеалов создал глубочайшую антиутопию голого, "беспредметного" общества.

Даниил Андреев, визионер универсального государства-церкви Розы Мира, которая прокладывает путь Антихристу и предвосхищает его царство.

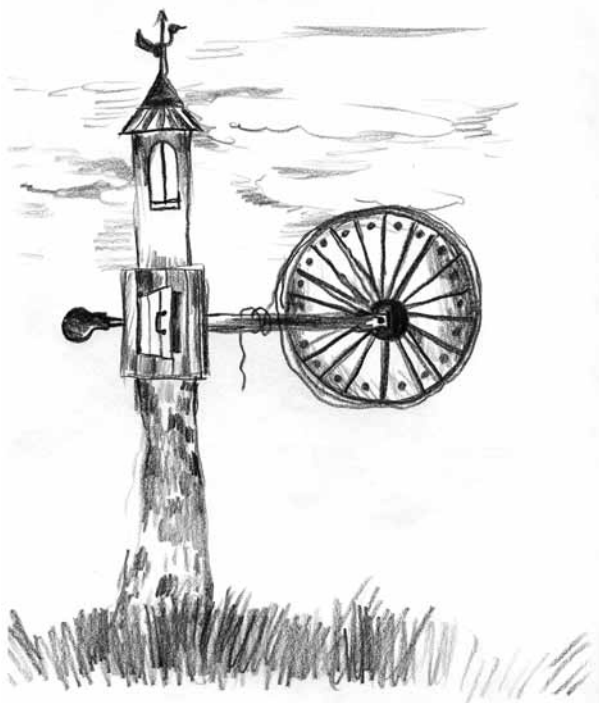
Советские власти в свое время замыслили поворот северных рек на юг, чтобы они орошали азиатские пустыни. Но столь же резко готовы менять русло своих идей русские мыслители. Им было в высшей степени свойственно то, что может быть понято как судьба всей России: сознательный или бессознательный жест иронии, "выкрутас", "передерг", которым уничтожается то, что создавалось веками и десятилетиями напряженного труда, — легкость и решительность расставания со своим прошлым.

России свойственна не только географическая, но и историческая *обширность*, при отсутствии явно выраженного поступательного движения. Это скорее круговорот, перебор и отбрасывание разных моделей, — невозможность осмысленной цели для этого велико-пустотного существования, экзистенциальный путь из ниоткуда — через всё — в неизвестность. Прогрессивность и пластичность — разные характеристики исторического движения: первое определяет меру развития, второе — *размах колебаний*. Ни православие, ни соборность, ни коммунизм, ни космизм, ни

евразийство не способны исчерпать, выразить и оформить сущность России, потому что эта сущность ставится как задача и в такой постановке всегда удаляется от ищущего. Россия пробует себя в разных исторических жанрах: от анархии до тоталитаризма, от застоя до смуты, от революции до консервации, от крепостничества до капитализма,— но ей важна не столько сущность данного социального строя, сколько сам процесс погони за своим ускользающим "я".

Как есть экзистенциальные личности, которые ничем определенным не становятся, но постоянно бьются над смыслом своего существования, так есть экзистенциальные народы, которые все время ищут себя, проецируют себя как задачу, как предмет вопрошания. Россия — то, что может или хочет стать Россией, *нация-экзистенция*.





Аюноша - Яноша

"Я" настолько выпирает из юности, что впору переименовать ее в "яность" (я-ность), а юношу в яношу. Я-ноша — это, действительно, тяжелая ноша и для себя, и для окружающих. В отрочестве "я" уже пробуждается от снов детства, уже вступает в горькую распрю с миром, но оно еще пугливое, стыдливое, одинокое, зажатое или загнанное в себя. Хочется ему сочувствовать, опекать, гладить по бедной стриженной головке. А яношу уже не погладишь — он с револьвером. И неважно, стреляет ли этот револьвер пулями, мыслями, словами, в себя или в других, он — оружие.

Яность — это самый угрожающий, террористический возраст, когда силами яноша уже почти равняется со взрослым, а по опыту еще почти подросток. Он уже рвется переделать мир, но еще не приобрел понимания и уважения к реальности. В этом расхождении силы и опыта — исток ювенильной преступности, агрессии против миропорядка. Юность — это надрывная проба себя на "сверхчеловека". Когда читаешь экзальтации Ницше: "почему я так умен", "почему я так силен" и т.д., — то узнаешь это опь-Я-нение задержавшейся юности, перехлестнувшей и за 30, и за 40 лет и в конце концов затопившей его рассудок.



Я как мы

О себе стоит хоть иногда говорить "мы" — как о прихотливом сочетании разных желаний и волений, которые ищут общий язык для переговоров и совместных решений. Имя Бога в Торе тоже выражено множественным числом — Элохим, то есть совокупность божественных сил творения. Бог монотеизма — это Бог богов, Бог над богами. "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему..." Не потому ли Бог и говорит о Себе "Мы", что Он многолик, соборен внутри себя? Причем впервые это множественное число звучит именно в эпизоде сотворения человека по образу и подобию "Нас", Создателя. "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог..." (Быт.1:28) Бог сотворил в единственном числе небо, землю, сушу, тварей земных, а человеку Он-Они передал/и свою множественность, залог свободного выбора себя.

Одна из самых разработанных современных теорий сознания — "модель множественных набросков" — приходит к тому же выводу. Каждый из нас — председатель ассамблеи, на которой совещаются и принимают решения различные инстанции. "Мы полагаем" — это значит, что разные "я" во мне посоветовались и решили... Демократия начинается с самого себя: насколько я деспотичен или либерален по отношению к своим многочисленным "я". Если я говорю о себе "мы", то это следует понимать не как самопревознесение, "цареподобие", а напротив, как скромное признание множественности себя, демократической зависимости от разных голосов, нейронных связей и мозговых

сигналов, одновременно звучащих во мне и борющихся за то, чтобы стать моим "я". Будь к ним щедр, внимателен, терпелив. Будь "мы". Будь "нами".

Я не могу умереть

Собственно, откуда мы знаем, что умрем? Главным образом, из сообщений о смерти других. Статистически смерть — самое вероятное событие в жизни человека. Поскольку все когда-либо жившие умирали, то и меня со стопроцентной вероятностью постигнет та же участь. Не может быть ни одного исключения. Но ведь и я у себя один. От всех других меня отличает то, что я — это я. Тот, кто умирает, всегда другой.

Важно понять: смерть — грамматическая категория третьего лица. Вполне возможно, что для первого лица, для "меня", вообще нет смерти. Умерший — это уже не "я", а "он", что соответствует отчужденному видению своего тела на операционном столе, как рассказывают прошедшие опыт клинической смерти. "Я" так же не могу умереть, как не могу заглянуть в собственные глаза. Могу — но лишь в своем зеркальном отражении, которое мною, конечно же, не является. Еще меньше являются мною другие люди, в смерти которых я вижу предсказание своего грядущего конца.

У Л. Толстого в "Смерти Ивана Ильича" есть противоречие, которое требует объяснения. Иван Ильич раньше знал о смерти только то, что люди умирают, что человек вообще смертен. Из учебника логики: "Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен". И вот, заболев, он впервые понял, что это ложь, что смерть относится не к какому-то абстрактному Каю, но к нему лично, что это он умрет, тот самый Ванечка, который помнит шелест платья своей матери, знает то, чего никто в мире не знает и не узнает никогда.

Но потом, когда смерть и в самом деле подступает к нему вплотную и он проваливается в темноту, вдруг через какие-то наплывы и барахтанье в черном мешке начинает брезжить свет и оказывается, что именно для него, умирающего, смерти нет. "Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет".

Выходит, что учебник логики, хотя Толстой поначалу старается его опровергнуть, оказался прав. Смерть существует только для Кая, для человека вообще, для всех людей, кроме меня. Для меня, единственного, смерти нет.

Я хотел бы иметь:

детство Набокова, отрочество Толстого, молодость Казановы, зрелость Наполеона...

Но тогда у меня была бы старость шизофреника.



Послесловие. О приключениях мысли

Чего я хочу? В чем моя надежда? — Рассеивать семена слов и понятий там, где они могут пустить корни — в растрескавшейся почве культуры, в зияниях и разрывах языка. Мои мысли не претендуют на системность, но ищут сопряжения с теми фрагментами культуры, где они нужнее всего, чтобы их дополнить, соединить с другими фрагментами. Возможный плод моих усилий — не отдельные законченные произведения, а расширение системы языка, умножение смысловых элементов культуры, которая может принести плоды в будущем, если семена дадут всходы. Я стараюсь мыслить не отдельными понятиями, а целыми направлениями, методами, гроздьями, созвездиями понятий, на том уровне, где кончается одна дисциплина и еще не начинается другая. Меня волнует не переоценка ценностей, но их умножение. Я ничего не ниспровергаю, критик из меня никудышный, мое желание и надежда — чтобы мысль взрывалась мириадами новых смыслов, чтобы мир, творимый мыслью, переходил в кипучее состояние мыслетворения. Как есть разные состояния физического вещества, от твердого до плазменного, — так есть и разные состояния вещества мыслительного. Мне тягостно в твердых, застывших или жидких, вязких мыслительных средах, — меня влечет огненное состояние мысли, звездное вещество. "Ионизировать" мысль, превратить ее в свободное сообщество частиц, отрывающихся от одних атомов и присоединяющихся к другим, — претворить мысль в плазму, чтобы она светилась, как звезда, и давала жизнь новым планетам.

Философ Томас Кун проводит различие между "нормальной наукой", когда ученые применяют устоявшиеся методы к описанию новых, непонятных явлений; и "революционной наукой", когда потрясаются сами основы знания, сменяются господствующие модели, парадигмы. Меня интересует возможность "перманентной революции" в гуманитарных науках — такие формы мышления, которые скользят по кромкам дисциплинарных полей и общепринятых понятий, вызывая недоумение у "нормальных" ученых. Меня волнует не открытый бунт, штурм существующих основ, но момент растущего подозрения, методологическая тревога, разлитая в воздухе науки. "А что это он там делает, этот 'ненормальный', не слишком ли близко жметесь к границе, не переступает ли порог научности?" Я испытываю волнение именно в этой модално-колебательной зоне возможного побега, неповиновения, когда предельно напрягается концептуальное поле, усиливается момент неопределенности. Один резкий шаг — и начнется истерика или отстрел, но я стараюсь двигаться плавно, растягивая поле академичности, а не разрушая его границы. Я хотел бы длить эту ситуацию "потенциальной угрозы", а не разрешать ее однозначно как революционер или конформист.

Я не люблю эпатажа, скандала, интеллектуального терроризма (как и политического или житейского). Я люблю медленное, но решительное изменение предмета, идеи, парадигмы, когда у внимательного читателя или слушателя глаза начинают округляться от изумления. Что это: лаборатория современной мысли? Или клиника сумасшедших изобретателей? "Все должно происходить медленно и неправильно", — говорил Венедикт Ерофеев. Я люблю постепенность и настойчивость отклонения от прямой.

Не люблю детективов и криминальных историй. Люблю мистификации и тайные общества, рассадники новых умственных вирусов.

Меня не привлекает создание всеобъемлющей метафизики *ab ovo*. То, что уже сотворено Богом и человечеством, полному осмыслению не поддается, можно только вступить в процесс (со) творения на своем маленьком историческом отрезке — как впрыгивают на ходу в движущийся поезд. Иными словами, фундаментом моей "не-системы" является вся ноосфера (и лингвосфера) в том виде, в каком она сложилась до меня. Я принимаю ее как данное и должное — и начинаю вместе с ней двигаться дальше, стараясь по мере сил ее "раскрутить", умножить ее обороты, увеличить степени ее свободы и саморефлексии.

Мои тексты могут сначала привлекать (новизна понятий и терминов), потом отталкивать (произвольность допущений, амбициозность выводов, чрезмерность обобщений), затем снова притягивать (рискованность, смесь строгих выводов и неожиданных выводов). Для меня каждая работа — это попытка поставить под вопрос сами основания того или иного метода, системы понятий. Меня интересует не столько материал исследования, сколько его новое видение, сдвиг в способе восприятия. Поэтому я почти никогда не возвращаюсь к темам своих прошлых работ, хотя к этому, казалось бы, располагает принцип экономии мышления и усилий. Ведь я уже затратил массу времени на изучение данного материала, и было бы рационально использовать его для построения новых моделей. Но именно рациональность и экономность убивают во мне вкус к разработке уже знакомых тем. Как только возникает симптом привыкания,

автоматизации, я тут же ищу поворот к неизвестному, чтобы продолжать приключения мысли.

У Леонида Аронсона есть стихи (1969), созвучные моему кредо:

Я стою перед тобою,
как лежал бы на вершине
той горы, где голубое
тихо делается синим.
Что счастливее, чем садом
быть в саду и утром — утром,
и какая это радость
день и вечность перепутать.

Голубое делать синим, искать предельной смысловой насыщенности вещей, того райского состояния бытия, где мысль о саде сама становится садом,— именно к этому я и стремлюсь.

СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге.....	5
Предисловие. О превратностях бытия	7
Алмазное правило	11
Безошибочное мышление?	15
Белые пороки	16
Библиотека и кладбище	18
Благодарность учит летать	20
Больше и меньше, чем жизнь	22
В начале будет слово	25
Вдвоем	26
Вдохновенная пошлость	27
Вежливость	29
Великанчик и лилипутище.....	31
Вечность времени	32
Вещие вещи	33
Вкус Вселенной	35
Возрасты.....	36
Воля к власти.....	38
Выбор.....	39
Выверт	40
Герой и гений	43
Далекие близкие	45
Дательный падеж.....	46
Две стороны свободы	47
Двойное небытие.....	48
Дедушка.....	50
Дерево, владеющее собой	52
Детство как урок воскресения.....	54
Дзен-встреча с Пелевиным	56

Длинный поводок	58
Добродетели	59
Жажда бессмертия	61
Желать чужое желание	62
Живосердечие	63
Живоумие	65
Жизнь и живое.....	67
Жизнь — печальная вещь... ..	68
Жить по любви	69
Заветная черта.....	71
Запутаться, чтобы понять.....	74
Зонт.....	75
Иллюзия.....	77
Иноумие.....	78
Интересное	80
Иррациональное.....	82
Искорка и слезинка	84
Как дела?.....	87
Как нас пишут.....	88
Когда разогнутся книги.....	89
Кого здесь лбоят?.....	91
Критерий реальности	92
Кротость Бога.....	93
Культура как опыт бессмертия	94
Лиха беда начало	97
Личные аксиомы	99
Любовь, а не добро.....	101
Любовь, Бог и Вселенная	103
Любовь и счастье	105
Магия вещей.....	107
Матчества.....	109

Медиа-терапия.....	110
Меланхолия	112
Мелочи и подробности.....	113
Мера тревожности.....	114
Метод как безумие.....	116
Мироздания.....	118
Многовластие	119
Молчание	121
Мудрец	123
Музеи заблуждений	124
Надежда	127
Настроения	128
Нащупать брюшко.....	131
Не уверен — не обгоняй	132
Недобытие. Барельеф и горельеф	133
Недолюбленность.....	135
Неисполнимые заповеди	137
Нельзя любить "очень"	138
Несчастье.....	139
Нетерпение	140
Ничего	141
Новая архаика	142
Новый Элизиум.....	144
Обнадеживающий урод	149
Обращение-глагол	151
Огромные пчелы	153
Отделение веры от церкви.....	154
Отпущение как прием	155
Парадоксы информации.....	157
Пасть и горло	158
Педанты, таланты, дилетанты	159

Пережить Достоевского	160
Помни о зачатии!.....	161
Понимание и прощение.....	162
Поступок и происшествие.....	163
Поэзия и наука.....	165
Предвкушение и послекусие.....	166
Прогибчивая страна.....	167
Противомыслие.....	168
Пытка временем	171
Пятна на Солнце.....	172
Радость и счастье — антонимы?	175
Разговорные миры	176
Разум и мудрость.....	177
Реальное и возможное.....	178
Ревность — вечный двигатель.....	181
Революция как скандал	184
Самое-самое	187
Свобода и судьба	189
Святобесие — Каинов грех.....	192
Сила влияния	194
Силоамская башня	195
Скорость души.....	197
Сложность	198
Слушание как призвание.....	199
Собачье богословие.....	200
Событие.....	201
Сочинительство — форма чтения	203
Спешить любить	204
Страдательный залог существительных.....	205
Стрекозы, муравьи и стремуры.....	206
Тавтология — фигура мудрости	209



Талант и его реализация.....	211
Танцующий мост	213
Точность и дерзость.....	215
Трагедии будущего	216
Трещина	219
Убийство вдвойне	220
Узнавать новое от самого себя	221
Ум и его границы.....	223
Умиление.....	225
Упреки и обиды	226
Хитрость Бога	229
Хрупкость реального	231
Человек	233
Человек и его жизнь.....	234
Человеческое, слишком человеческое	236
Четвертое время: предбудущее.....	238
Чудо как правило и как исключение.....	240
Щеку подставлять, но по ней не бить.....	243
Экзистенциальный народ	245
Юноша-Яноша	249
Я как мы	251
Я не могу умереть.....	253
Я хотел бы иметь:	255
Послесловие. О приключениях мысли	256

для заметок

для заметок



для заметок

для заметок



для заметок

для заметок



Литературно-художественное издание

Михаил Эпштейн


Клейкие листочки.
Мысли вразброс и вопреки

Рисунки Али Розенман
www.alexandrarozenman.com

Редактор Ольга Дунаевская
Корректор Анна Арсеньева
Дизайн и компьютерная верстка Наталья Половникова
Технический редактор Алексей Матросов

Директор издательства Р. К. Зарипова
Главный редактор издательства А. Л. Бердичевская

Подписано в печать 25.09.2013. Формат 60х90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.п.л. 12,75. Тираж 3000 экз.

Издательство ООО "ArsisBooks"
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1В
тел.: +7(495) 785 2498, факс: +7(495) 785 2549, e-mail: arsis@inbox.ru
www.arsisbooks.ru  Издательство ARSIS BOOKS

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ППП "Типография "Наука".

Адрес: 121099, Москва, Шубинский пер., 6



Михаил Наумович Эпштейн - филолог, философ, профессор теории культуры и русской словесности университета Эмори (Атланта, США) и директор Центра гуманитарных инноваций Даремского университета (Великобритания).

Автор 29 книг и более 700 статей и эссе, переведенных на 18 иностранных языков.

Лауреат премий Андрея Белого (1991), Лондонского Института социальных изобретений (1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин-Веймар, 1999), Liberty (Нью-Йорк, 2000).

"Михаил Эпштейн - мастер поэтической мысли".

Александр Генис

"Одаренный живоумием и свободным слогом, Михаил Эпштейн заслужил себе высокую репутацию как философ и культуролог в среде интеллектуалов. Но прозаик всегда томился в нем и с годами он потянулся от слов к Слову, о чем и свидетельствует эта книга".

Андрей Битов

"После Бахтина и Лотмана, Михаил Эпштейн, вероятно, самая значительная фигура в российской литературной мысли".

Уолтер Лакер